

Г. А. Паперн
**Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская
деятельность**

**Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека
Ф. Павленкова**



<http://litres.ru/>

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Герасим Абрамович Паперн
**Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская
деятельность**

*Биографический очерк Г. А. Паперна
С портретом Декарта, гравированным в Лейпциге Геданом*



Глава I. Детство и отроческие годы

Семья. – Смерть матери. – «Маленький философ». – Ла-Флешская коллегия. – Воспоминания Декарта о школьных годах. – Жизнь в Париже. – Душевный перелом

Род Декартов принадлежал к незнатному чиновному дворянству – так называемой noblesse de robe. Пополняя свои ряды представителями отчасти мелкого дворянства, отчасти высшей буржуазии, noblesse de robe держала в описываемую эпоху в своих руках весь административный и судебный механизм Франции. Не представляя замкнутой касты, она благодаря наследственности покупных должностей и значению, придававшемуся в старой Франции мелким классовым перегородкам, превратилась в особое сословие и являлась едва ли не самым культурным слоем старой Франции: в интересующую нас эпоху, кроме Декарта, из нее вышли Ферма и Паскаль.

Сама семья Декартов не отличалась, однако, особенной интеллигентностью. На тайну происхождения гения знакомство с семьей великого французского мыслителя совершенно не проливает свет. Это была заурядная дворянская семья. Духовные интересы были здесь положительно слабы, и философ в родной своей семье чувствовал себя совершенно чужим: его не понимали и считали выродком, так как он не хотел служить, тратил свое состояние на опыты, не исполнял своей обязанности содействовать продолжению рода. Наиболее обстоятельный из биографов Декарта, Балье, тщательно отмечающий все добродетели его предков и родных, может поставить им в заслугу только то, что они никогда не заключали

неравных браков, плодились, размножались и содействовали приумножению родового состояния. Другая ветвь рода Декартов далеко не с таким блеском поддерживала честь своего дворянского имени: она впала в такую бедность, что была сделана попытка привлечь ее к платежу поземельного налога *taille*, которым в старой Франции обложены были люди «подлого звания». Та ветвь, из которой вышел философ, никогда не подвергалась подобному унижению. Благодаря удачным бракам она владела обширными поместьями в Турени, Бретани и Пуату и потому (такова была логика старого порядка) никогда не платила поземельного налога.

Один из представителей последней ветви, Иоахим Декарт, советник бретанского парламента, женился на болезненной и слабогрудой Жанне Брошар. Брак был «равным», но не особенно счастливым: молодой женщине пришлось пережить тяжелые потрясения, с которыми старший брат Декарта не нашел возможным подробнее познакомиться Балье и которым приписывали ее раннюю кончину. За шесть лет супружества Жанна родила мужу двоих детей: мальчика и девочку. На седьмом году, во время третьей беременности, у нее стала развиваться скоротечная чахотка. 21 марта 1596 года она в маленьком городке Ла-Гэ (La-Haye, в Турени) разрешилась от бремени сыном и через несколько дней умерла. Родился слабый, хилый ребенок, которому врачи предсказывали раннюю смерть. Благодаря попечениям кормилицы, здоровой нормандки, Рене остался жив, но до двадцати лет короткий, сухой кашель и бледный цвет лица внушали опасения за его жизнь.

Детство Рене провел в Турени, славившейся садами, плодородием и мягкостью климата, но ни к родной своей провинции, ни – в особенности – к ее обитателям он не выказывал впоследствии большой привязанности. Детство Рене, видимо, не было богато счастливыми впечатлениями, и, быть может, не без влияния на это обстоятельство был тот факт, что отец его вскоре после смерти первой жены ввел в свой дом новую хозяйку. Единственное светлое воспоминание из детских лет было у Рене связано с товарищем его игр, маленькой девочкой, страдавшей косоглазием. Впоследствии, выясняя влияние ассоциации идей на возникновение у нас инстинктивных симпатий и антипатий к незнакомым людям, он говорил, что к косым всегда питал особенную нежность. Ненормальные отношения, установившиеся между Рене и прочими членами семьи, лишили биографов возможности собрать более подробные сведения об его детстве. Мы знаем только, что отец называл его своим «маленьким философом», из чего можно заключить, что пытливость его ума рано обратила на себя внимание. Рене было восемь лет, когда, несмотря на слабое здоровье, его решили отдать в школу. Было ли вызвано это решение желанием сбить с рук постылого ребенка или же признанием невозможности дать даровитому мальчику подходящую умственную пищу в не особенно интеллигентной семье, мы не знаем.

Около этого самого времени Генрих IV, предпочитая видеть иезуитов своими сторонниками, чем врагами, отменил указ парижского парламента 1594 года об изгнании иезуитов из Франции, разрешил им вернуться в королевство и повелел учредить в городе Ла-Флеш (в Анжу) иезуитскую коллегию. Желая выказать ордену особенное внимание, король подарил коллегии свой дворец в Ла-Флеш, обеспечил ее большими средствами и завещал после смерти перенести в церковь коллегии свое сердце. Желание короля было исполнено раньше, чем он предполагал. Спустя шесть лет по возвращении во Францию иезуитов, Генрих IV был убит Равальяком, и в 1610 году, когда Рене был в первом философском классе, состоялась печальная церемония перенесения в Ла-Флеш сердца популярнейшего из французских королей.

Обеспеченная большими материальными средствами, отданная в руки деятельного ордена, коллегия в Ла-Флеш скоро сделалась одним из лучших учебных заведений Франции. Орден всегда отводил видное место в своей деятельности воспитанию юношества и, не имея недостатка в ученых и талантливых людях, тщательно выбирал учителей для своих школ. Деятельность иезуитов на политическом поприще, положение, занятое ими здесь в качестве боевого авангарда католической реакции, до сих пор не позволяет относиться справедливо к заслугам их в области школьного дела. Между тем, заслуги их в этой области несомненны и

крупны. Современники, даже не разделявшие политических и религиозных убеждений иезуитов, восторгались их школами; Бэкон ставил иезуитские школы в образец педагогам своего времени. Теневые стороны иезуитской педагогики общеизвестны: мелочный, полицейский надзор за жизнью и чтением учащихся, разжигание их самолюбия распределением по разрядам, отметками и наградами, поощрение внешнего благочестия, развивавшее в детях ханжество и лицемерие, – все это были приемы, вредно отзывавшиеся на нравственности детей. Но справедливость обязывает нас заметить, что рядом с теневыми сторонами существовали в иезуитской школе и симпатичные, представлявшие прогрессивное явление в области школьного дела.

Крупной заслугой иезуитов было то, что они сделали среднее образование бесплатным и общедоступным. Бесплатность обучения предписана была знаменитым школьным уставом (*Ratio studiorum*), составленным в 1599 году, и предписание это соблюдалось так строго, что, когда некоторые правительства, руководимые узкими классовыми интересами, пытались заставить иезуитов ввести плату за обучение, они закрывали свои коллегии. Иезуиты не делали также исключения для детей лакеев и кухарок; будущий комедиант Мольер сидел у них на одной парте с принцем крови Конти и пользовался одинаковым с ним вниманием со стороны учителей. Уже много лет спустя по выходе из школы Декарт в письме к другу, просившему у него совета относительно воспитания сына, с большим уважением отзывался о своих учителях и указывал на «равенство, которое они устанавливают, одинаково обращаясь со знатными и простыми». Декарт справедливо указывает, что такое соединение в школе детей различных общественных групп имеет важное педагогическое значение: «получается такая смесь характеров, что через сношения и разговоры между собою дети научаются почти столько же, сколько научились бы, если бы путешествовали». Точно так же не делалось никаких ограничений по отношению к иноверцам. Иезуиты высоко ценили сближающее влияние школы, старались привлечь в нее иноверцев и, требуя от своих воспитанников-католиков строгого соблюдения регламента, делали исключение в пользу детей иноверцев, когда того требовали их родители.

Иезуитам принадлежит еще одна важная реформа в области школьного дела: они сделали преподавание светским. Внушая своим питомцам убеждение, что в религиозных вопросах они должны беспрекословно следовать авторитету своих духовных руководителей, они перенесли богословские предметы в специальные классы, предназначенные для подготовки будущих богословов, а в общих классах ограничивались коротеньким катехизисом. Каковы бы ни были мотивы, побудившие их осуществить эту важную реформу, не подлежит сомнению, что она была в духе времени и что светский характер преподавания более соответствовал потребностям детей, чем практиковавшееся в других школах того времени забивание детских голов богословскими тонкостями.

Тем не менее, программа школы была неудовлетворительной. В основу преподавания были положены классические языки – латинский и греческий (что в XVI веке, только что пережившем эпоху гуманизма, было последним словом педагогики). Целью преподавания ставилось научить учеников свободно говорить и писать на латинском – тогда международном научном языке. Преподавание носило преимущественно грамматический характер. Родной язык был в пренебрежении. Декарт впоследствии смущенно оправдывался перед Мерсенном за многочисленные орфографические ошибки «Диоптрики» и шутя выражал надежду, что никто не будет учиться французскому правописанию по книге, напечатанной в Лейдене иностранцами. Арифметика в низших классах, по предписанию устава, должна была преподаваться легко, между делом, но в течение восьми лет проходилась полный курс математики. Прочие предметы сваливались в одну кучу под общим наименованием «эрудиция». «Эрудиция» представляла курьезную смесь обрывков из самых разнородных областей ведения: в нее входили рассказы из истории, нравы различных народов, иероглифы, эмблемы, эпиграммы, эпитафии, кое-что о римском и афинском сенате, о военном деле у греков и римлян, о сивиллах, о триумфе, о садоводстве, пифагорейские символы, пословицы и сравнения, любопытные истории, изречения оракула и *другое в том*

же роде... «Эрудиции» иезуитская школа с полной откровенностью ставила вполне определенные задачи. Не давая сколько-нибудь солидных знаний, она должна была дать знания показные, при помощи которых можно было бы придать научный облик светскому разговору, щегольнуть ученостью в проповеди. На развитие красноречия иезуитская школа обращала усиленное внимание, и с этой целью между учениками часто устраивались словесные турниры.

Реальных знаний иезуитская школа, таким образом, не давала. Она ставила себе целью, как и современная школа, только механическую «гимнастику ума». Но этот отрицательный результат покупался несравненно менее дорогой ценой. Переутомления учащихся, той эпидемии невротозов, которая вырывает теперь столько жертв из молодежи еще прежде, чем она вступает в жизнь, иезуитская школа не знала. Устав обращал серьезное внимание на физическое здоровье учащихся. Занятия продолжались не более пяти часов в день, причем классный день делился на две половины, отделенные промежутком в три с половиной часа. Все уроки обязательно разучивались в классе. Для слабых здоровьем учеников делались льготы. Декарту, ввиду слабого его здоровья, разрешено было до позднего часа оставаться в постели и он посещал только уроки послеобеденные. Привычку допоздна лежать в постели Декарт усвоил себе на всю жизнь и считал те часы, которые он проводил по пробуждении, размышляя в постели, лучшими часами своей умственной работы. Обращая серьезное внимание на развитие памяти у учащихся, устав категорически запрещал задавать выучивать наизусть более четырех строк зараз в низших классах, более семи – в высших. Излишнее обременение учащихся, кроме того, предупреждалось введенной в иезуитских школах классной системой преподавания: все предметы класса велись одним учителем.

Заучивание наизусть не более четырех строк, разучивание уроков в классе при пяти часах занятий в день, предоставление остального времени играм, фехтованию и танцам – все это вызовет, вероятно, презрительную улыбку на лицах некоторых современных педагогов, питающих органическую ненависть к «лентяям», играющим вместо того, чтобы, заткнувши уши, сидеть за книжкой. Со стороны же педантов XVI и XVII веков педагогические приемы иезуитов вызвали единодушный вопль негодования. Все они в один голос кричали, что иезуитская школа развращает юношество легкостью преподавания; настоящею школой казалась им каторга, калечащая детей умственно и физически, тогда как из иезуитских коллегий выходили здоровые, полные сил молодые люди. Зато среди родителей и учащихся иезуитская школа пользовалась популярностью, какой с тех пор не знала средняя школа. Популярности ее в значительной степени католическая церковь обязана восстановлением своего влияния во многих местностях, утраченных было в эпоху Реформации.

Как бы то ни было, программы были неудовлетворительны и знаний школа не давала. Грамматики латинская и греческая не давали пищи детскому уму и не удовлетворяли его любознательности. Точно так же не давали ответа на занимавшие учеников вопросы и высшие «философские» классы, в которых преподавание носило университетский характер: здесь заканчивалась математика, проходились метафизика и собственно философия, под которой в описываемую эпоху понимались естественные науки и физика. Но здесь неудовлетворительность преподавания зависела не столько от программы, сколько от состояния науки в данную эпоху. Блестящее научное движение, которому суждено было составить славу XVII века, еще только начиналось, и один из создателей новой науки сидел еще на школьной скамье в лафлешской коллегии. Достигнутые уже научные успехи не стали еще общепризнанными истинами, и к важнейшему научному приобретению эпохи – учению Коперника – даже такие выдающиеся умы, как Бэкон, относились с насмешкой. В школе царил схоластика. Давно уже переставшая соответствовать умственному уровню эпохи, она доживала последние дни. Разлад между жизнью и школой, отставшей от нее на несколько столетий, никогда не проходит безнаказанно: преподавание становится формальным и утрачивает способность влиять на умы. Те самые положения, которые некогда Абельяр с воодушевлением развивал перед тысячами учеников, стекавшихся к нему из всех стран не ради карьеры, не ради связанных с дипломом чинов и теплых местечек, а потому что в

кажущихся нам теперь столь смешными «здешностях» и «всегдашностях» они искали и находили ответ на мучившие их вопросы, эти самые положения теперь равнодушно излагались плохо верившими в них людьми, излагались потому, что того требовала программа. В школе создавалась атмосфера апатии, равнодушия и неудовлетворенности.

В 1612 году Декарт закончил школу. Он провел в ней восемь с половиной лет, и плоды его занятий, как он сам сообщает, были таковы:

«Я полагал, что достаточно уже отдал времени языкам, а также чтению древних книг с их историями и вымыслами. Беседовать с писателями других веков – то же, что путешествовать. Хорошо в известной мере познакомиться с нравами разных народов, дабы более здраво судить о наших и не считать смешным и неразумным всего, что несогласно с нашими модами, как нередко делают люди, ничего не видавшие. Но если слишком долго путешествовать, то можно сделаться чужим своей стороне, и кто слишком интересуется делами прошлых веков, обыкновенно становится несведущим в том, что происходит в его веке... Я высоко почитал красноречие и был влюблен в поэзию, но полагал, что это более дарования ума, чем плод учения. Те, чье разумение сильнее и кто лучше располагает мысли, так что они становятся ясными и понятными, всегда лучше, чем другие, могут убедить в предлагаемом, хотя бы говорили по-нижнебретонски и никогда не учились риторике. А те, кто одарен привлекательностью изобретения и способен выражаться с прелестью и изяществом, будут наилучшими поэтами, хотя бы искусство поэзии им не было знакомо... Я читал наше богословие и не менее кого-либо другого рассчитывал обрести путь к небу. Но узнав, как вещь вполне достоверную, что путь этот равно открыт не сведущим, как и ученейшим и что откровенные истины, к нему ведущие, выше нашего разума, я не осмеливался подвергать их слабости моего рассуждения и думал, что, дабы предпринять их исследование и успеть в том, надлежит получить чрезвычайную помощь свыше и быть более чем человеком. О философии скажу одно. Видя, что она от многих веков разрабатывается превосходнейшими умами и, несмотря на то, нет в ней положения, которое не было бы предметом споров и, следовательно, не было бы сомнительным, я не нашел в себе столько самоуверенности, чтобы надеяться на большой успех, чем другие. И принимая в соображение, сколько относительно одного и того же предмета может быть разных мнений, способных быть поддержанными учеными людьми, тогда как истинным необходимо должно быть какое-нибудь одно из них, я стал все, что представлялось мне не более как правдоподобным, считать за ложное».

Одна математика Декарту особенно нравилась верностью и очевидностью рассуждений, и он удивлялся, как на столь прочном и крепком фундаменте не воздвигнуто что-либо более возвышенное, чем механические искусства.

Еще грустнее звучат слова, в которых Декарт подводит общий итог своим школьным годам:

«Я с детства был вскормлен на книжном знании, и, так как меня уверяли, что с помощью его можно получить ясное и твердое познание всего полезного для жизни, то я имел чрезвычайное желание приобрести его. Но, как только кончил курс учения, завершаемый обыкновенно принятием в ряды ученых, я совершенно переменил мнение, ибо очутился так запутанным в сомнениях и заблуждениях, что старанием моим в учении достиг, казалось, одного: более и более убеждаться в моем неведении. А между тем я учился в одной из славнейших школ в Европе и полагал, что если есть на земле где-нибудь ученые люди, то именно там должны быть таковые. Я изучал там все, что изучали другие, и, не довольствуясь преподаваемыми сведениями, пробежал все попавшиеся мне под руку книги, где трактуются сведения любопытнейшие и наиболее редкие. Вместе с тем я знал, как думают обо мне другие, и не видел, чтобы меня считали ниже товарищей, хотя некоторые между ними назначались уже к занятию мест наших наставников. Наконец век наш казался мне цветущим и обильным высокими умами не менее какого-либо из ему предшествовавших. Все это дало мне смелость по себе заключать и о всех других и думать, что такого знания, каким меня первоначально обнадеживали, нет в мире».

Приведенные строки написаны Декартом много лет спустя после того, как он оставил школу, и мотивировка их носит на себе печать здравого смысла и умеренности, характеризующей зрелый период его творчества. Не подлежит, однако, сомнению, что они точно передают душевное состояние Декарта в эпоху его выхода из школы. Школа добилась громадного, почти чудесного эффекта: у юноши, в высшей степени любознательного, у ума, отличительной чертой, господствующей страстью которого была страсть к знанию, она сумела вызвать отвращение к знанию и к науке. Рене шел семнадцатый год, когда он вернулся к своим в Ренн. Он забросил книги и научные занятия и проводил все время в верховой езде и фехтовании. Но было бы ошибочно думать, что мысль его в это время спала. У этого в высшей степени творческого ума всякие впечатления тотчас же перерабатывались в законы и обобщения: результатом его фехтовальных забав явился «трактат о фехтовании».

Весной 1613 года Рене отправился в Париж: молодому дворянину нужно было позаботиться о приобретении светского лоска и завязать в столице необходимые для житейских успехов связи. Старик Декарт, по-видимому, доверял рассудительности своего сына, так как отправил его в Париж, превратившийся уже тогда в новый Вавилон, одного, в сопровождении только камердинера и лакеев. В Париже Рене познакомился с ученым францисканским монахом Мерсенном, автором весьма двусмысленного комментария к книге Бытия, при чтении которого благочестивые люди покачивали головами, и математиком Мидоржем; но доверия отца не оправдал. Он попал в компанию «золотой молодежи», вел рассеянную жизнь и увлекся карточной игрой. Светские приятели Декарта, однако, жестоко ошибались, если считали его одним из своих. После полутора лет рассеянной жизни в юноше вдруг произошел перелом. Тайком от своих друзей и парижских родных он перебрался в уединенный домик в Сен-Жерменском предместье, заперся здесь со своими слугами и погрузился в изучение математики – главным образом, геометрии и анализа древних.

В этом добровольном заточении Декарт провел около двух лет. Не побудило его покинуть уединение даже такое событие, как созыв Генеральных штатов 1614–1615 годов. Это были последние Генеральные штаты старой Франции. Депутаты привезли с собой указы от сословий, требовавшие тех реформ, какие были произведены спустя много лет при уже совершенно другой обстановке. Но в то время между сословиями существовали еще рознь и взаимное недоверие; депутаты от дворянства на замечание депутатов третьего сословия, что они видят в них старших братьев, надменно ответили, что расстояние между ними такое же, как между господами и слугами; третье сословие еще было недостаточно сильным, чтобы принять на себя руководящую роль. По прошествии полугода правительство нашло, что депутаты устали, и предложило им «отдохнуть». Отдых продолжался долго – 175 лет и привел к результатам, которых вряд ли ожидали советники малолетнего еще тогда Людовика XIII. Слепое игнорирование народных нужд и требований вызвало ту страшную катастрофу, которая потрясла до основания старую Францию и возвела на эшафот правнука Людовика XIII. Вопросы, волновавшие тогда французское общество, Декарта занимали мало: он несравненно больше интересовался задачами, оставленными Паппом и Диофантом.

Как-то раз, избалованный двухлетним успехом, Декарт вышел из дому, не приняв обычных предосторожностей, и был встречен одним из своих старых приятелей. Тот последовал за ним до самой квартиры, и Декарту пришлось вернуться в прежнее свое общество и к прежнему образу жизни. Но рассеянная жизнь уже тяготила молодого человека. Ему шел 21 год. Он решил оставить Францию и увидеть свет. Ему хотелось почитать «в великой книге мира, увидеть дворы и армии, войти в соприкосновение с людьми разных нравов и положений, собрать разные опыты, испытать себя во встречах, какие представит судьба, и всюду поразмыслить над встречающимися предметами». Потому что, казалось ему, он «может встретить более истины в рассуждениях, какие каждый делает о прямо касающихся его делах, – исход которых немедленно накажет его, если он дурно рассудил, – чем в кабинетных соображениях ученого человека, не разрешающихся действием».

Один из величайших деятелей на мировой арене хотел в эту пору «быть более зрителем, чем актером, в разыгравшихся пред ними комедиях». Начались годы

скитальчества.

Глава II. Годы скитальчества

Волонтер нидерландской армии. – Знакомство с Бекманом. – Розенкрейцеры. – В войсках католической лиги. – «Чудесное открытие»

В 1617 году мы находим Декарта в Бреде в мундире волонтера нидерландской армии. Офицерский мундир не соответствует ни его склонностям, ни его взглядам, но он представляет некоторые удобства. Во-первых, он избавляет молодого человека от постоянных напоминаний о карьере со стороны родных; во-вторых, он дает ему возможность постранствовать. К военной службе Декарт относится довольно непочтительно и затрудняется «отвести ей место в ряду заслуживающих уважения занятий (*professions honorables*), так как любовь к праздности и разврату является, по его мнению, главным мотивом, привлекающим к ней молодых людей». Слова эти приобретают особенное значение в устах французского дворянина XVII века, свидетельствуя о том, до какой степени расшатаны феодально-рыцарские идеалы.

Но расшатаны и другие идеалы недавно минувшей эпохи. В доставшемся от нее религиозном миросозерцании, некогда столь исключительном и цельном, образовалась какая-то прореха. Верный сын католической церкви, каким тщательно выставляет себя Декарт всю жизнь, служит в еретической армии, воюющей под знаменем веротерпимости с католическим королем Испании. Напомним, что с еретиками дружат и сам христианнейший король Людовик XIII, и его советник, кардинал Ришелье. Впоследствии мы найдем Декарта в рядах католической лиги, воюющей в Германии с протестантами, и в рядах королевского войска под стенами последней твердыни гугенотов, Ла-Рошели, но во всех этих случаях религиозные убеждения Декарта ни при чем. Он индифферентен в религиозном отношении. К вере своей он относится почти так же, как к своему дворянскому званию, – как к традиции, доставшейся ему по наследству, отрешиться от которой было бы и не совсем удобно, и небезопасно. Обязательный во Франции дворянский костюм – шляпу с плюмажем и шпагу – он сбрасывает с себя при переезде через границу и насмешливо относится к аристократическим претензиям своих родных, желающих, чтобы он в качестве младшего сына носил по родовому поместью своей матери фамилию дю-Перрон. К мессе он ходит и за границей и старается – впрочем, не совсем успешно – оградить себя от небезопасных обвинений в еретичестве. Но это для него формальность, в которую он не вносит энтузиазма, а, напротив того, влагает много расчета. Один только раз, в критическую минуту жизни, отголоски старых привычек вспыхнут у него, отдаленно напоминая нечто вроде религиозного энтузиазма, но его рвение скоро остынет.

Впоследствии Декарт объяснял свое поступление на военную службу «горячностью печени», которою он будто бы отличался в юности. Но позволительно усомниться в том, чтобы «горячность печени» когда-либо достигала у него особенной высоты. Для начала своей военной карьеры он выбирает страну, которой предстоит еще несколько лет наслаждаться всеми благами перемирия; потом, поступив в армию более активную, он ухитряется сидеть на зимних квартирах в то время, когда его армия дает решительные сражения и осаждает города. Сам же Декарт довольствуется тем, что вступает церемониальным маршем в неприятельские города уже после того, как они взяты штурмом. Воинскими доблестями он не отличается и, как типичный представитель новой эпохи – торгово-промышленной, их не ценит.

И теперь он живет в Бреде, пользуясь тем, что идет девятый год перемирия, заключенного на двенадцать лет между Нидерландскими штатами и Испанией. От жалованья он отказывается, чтобы быть свободным от всяких обязанностей, не ходит даже на парады, сидит дома и занимается математикой. Два года затворнической жизни в Сен-Жерменском

предместье не прошли даром: перед нами уже не ученик, а мастер своего дела, один из величайших математиков эпохи. Проходя однажды по улицам Бреды, Декарт увидел приклеенную на стене афишу, перед которой столпился народ: какой-то математик вызывал желающих – по обычаю тогдашнего времени – решить одну трудную задачу. Афиша была написана на незнакомом Декарту фламандском языке, и он попросил стоявшего с ним рядом старичка перевести ее на латынь. Старик с улыбкой посмотрел на молодого офицера и согласился исполнить его просьбу, если тот обещает принести ему свое решение. Декарт принял вызов и на следующий же день доставил своему собеседнику решение задачи. Старик был ученый голландский математик, Бекман, ректор Дортрехтской коллегии. Решение, принесенное Декартом, и данное им объяснение убедили Бекмана, что перед ним восходящая звезда, и он пожелал ближе познакомиться с молодым человеком. Они подружились, и впоследствии Декарт по просьбе старого своего друга написал трактат «О музыке».

В описываемую эпоху Декарт желал, как мы видели выше, «быть зрителем в разыгрывающихся перед ним комедиях». Но интересующая его сцена довольно узка. Дортрехтский собор 1618 года не привлекает его внимания. Между тем этим собором открывается эпоха долгой партийно-религиозной и политической борьбы в Голландии. Самим собором 1618 года Мориц Оранский воспользовался для того, чтобы под предлогом охранения чистоты кальвинистского вероисповедания раздавить ненавистную ему республиканскую партию. Не интересовался, впрочем, собором и Бекман, ректор Дортрехтской коллегии. Вместе с Декартом он в Бреде занимается решением математических задач. Такая уж математика всепоглощающая наука!

Пышные церемонии более интересуют Декарта, и в 1619 году он покидает Голландию и отправляется во Франкфурт, где присутствует на коронации вновь избранного императора Фердинанда II. В Германии любопытство его возбуждают рассказы о таинственном обществе «братьев Розового Креста». Рассказами об этом обществе полна была тогда вся Европа. Появился ряд сочинений, посвященных истории братства и публиковавших его статуты. Как сообщалось в этих книгах, общество розенкрейцеров основано было чудодеем, изучавшим магию на Востоке. Вначале число братьев не превышало четырех, потом было увеличено до восьми. Розенкрейцеры не задавались ни политическими, ни религиозными целями. Единственной их задачей была реформа науки, – главным образом, медицины и химии. Статуты обязывали братьев Розового Креста сохранять безбрачие, лечить всех бесплатно, носить общепринятую одежду и вообще не знакомить с обществом в течение столетия непосвященных, но пополнять братство выдающимися и способными людьми. Декарт страстно желал познакомиться с розенкрейцерами, долго искал их, но безуспешно: как выяснено в новейшее время, братство розенкрейцеров было мифом. Все образованное общество Европы долгое время было жертвой мистификации, по всей вероятности, невольной. Потребность в реформе науки была так сильна, вероятное близкое осуществление ее было так очевидно, что общественное настроение воплотилось в форме мифа, державшегося долгое время.

Вскоре после коронации Фердинанда II в Германии образовалась католическая лига для войны с чешскими протестантами, избравшими королем Фридриха V, курфюрста пфальцского, отца будущей ученицы Декарта, принцессы Елизаветы. Декарт вступил в армию вождя лиги, герцога баварского. По-видимому, и на этот раз он руководствовался побочными соображениями, так как немедленно вслед за своим вступлением в армию отправился на зимние квартиры на границе Баварии. Он жил здесь, лишенный общества и книг, и, как рассказывает сам, «не имея никаких развлекающих разговоров и к тому же, не тревожимый, к счастью, никакими заботами и страстями, оставался целый день один в комнате, имея полный досуг предаваться размышлениям». Здесь произошло событие, составившее эпоху в жизни Декарта. Сам Декарт придавал ему такое значение, что друг его Шаню в надписи на надгробном памятнике счел нужным упомянуть о времени его «зимних стоянок» в Германии. В недавно найденном дневнике Декарта мы находим заметку: «10 ноября 1619 года я начал понимать основания чудесного открытия (*coepi intelligere*

fundamenta inventi mirabilis)». Не подлежит сомнению, что чудесным открытием, о котором говорит здесь Декарт, было открытие основ аналитической геометрии. Как известно, сущность аналитической геометрии состоит в приложении алгебры к геометрии и обратно – геометрии к алгебре. Всякая кривая может быть выражена уравнением между двумя переменными величинами, и обратно – всякое уравнение с двумя переменными может быть выражено кривой (при трех переменных величинах место плоских кривых занимают поверхности и т. д.). Это открытие имело громадное значение не только для математики, в истории которой оно составило эпоху, но и для естественных наук, и вообще для все расширяющегося круга знаний, имеющих дело с точными величинами – числом, мерой и весом. Всякое явление, стоящее в точной зависимости от двух других величин (являющееся «функцией» этих величин), может быть изображено в виде кривой. Свойства последней могут быть изучены алгебраическим путем, и в полученных алгебраических формулах будут содержаться законы изучаемого явления. Этот великий метод не использован еще в достаточной мере в громадной группе наук – например, в науках общественных, по отношению к которым применение его представляется вполне возможным, а для будущего даже вероятным. Статистические кривые пока еще служат только для наглядности изображения полученных данных, но можно предвидеть время, когда приложение к ним математических операций произведет в общественных науках такой же переворот, какой оно произвело в физике и астрономии. Пока этому приложению мешают, с одной стороны, недостаток точных данных, с другой – недостаточная еще выработка метода, открытого Декартом, недостаточная для приложения его к функциям многих переменных величин, какими представляются явления общественные.

Изобретатель нового метода ясно сознавал все его громадное значение и общность. Он был так потрясен своим открытием, перед его умственным взором открылись такие громадные перспективы, так близка казалась ему к осуществлению его давнишняя мечта об утверждении всех наук на прочном математическом основании, что он пришел в состояние крайнего возбуждения. Заснув в этот день, он видел подряд три сна, содержание которых передает Балье на основании бывшей у него в руках записи самого Декарта. Давно, по-видимому, мучившие молодого человека мысли о его будущем, о его призвании, отчасти нашли себе выражение в этих снах. Добродушный Балье опасается даже, что читатель может приписать возбуждение Декарта не сделанному им открытию, а более низменному источнику, «тем более, что 10 ноября – канун дня св. Мартина, когда в той местности, где был г-н Декарт, как и во Франции, в обычае предаваться кутежу; и можно было бы подумать, что он выпил вечером, прежде чем лечь спать. Но г-н Декарт заверяет, что провел вечер и весь день в полной трезвости, да и в продолжение целых трех месяцев он не пил вина».

Опубликованный недавно дневник содержит и другие любопытные данные, относящиеся к этому критическому моменту в жизни Декарта. Преисполненный энтузиазма, он записывает обет «перед концом ноября» совершить паломничество в Лоретто, чтобы, как наивно выражается Балье, «заинтересовать в своем предприятии лореттскую Богоматерь». Энтузиазм Декарта, впрочем, вскоре остыл, и он отправился в Лоретто уже много лет спустя во время путешествия в Италию, предпринятого по иным соображениям и мотивам.

В то же время Декарт начинает сознавать, что ему не придется оставаться зрителем на мировой сцене, хотя его и смущает несколько предстоящее выступление перед публикой. «Наука, – пишет он в дневнике, – похожа на женщину: у нее есть свой стыд. Пока она при муже, ее уважают; становится публичной – подвергается презрению».

Тем не менее, неизбежность близкого появления на сцене не подлежит для него сомнению, и Декарт предполагает только принять известные меры предосторожности: «Подобно актеру, надевающему маску, чтобы не видели краску на его лбу, я, выходя на сцену мира, где был доселе только зрителем, появляюсь замаскированным». Несколько далее мы находим и самую маску: Декарт придумал для себя псевдоним, а для своего сочинения заглавие, в котором бросает вызов сердящим его своей таинственностью розенкрейцерам. Заглавие придумано в духе века – длинное и мудреное:

Сокровище математики Полибия Космополита, в котором указываются истинные средства разрешать все трудности сей науки, и доказывается, что ум человеческий не может идти далее в разрешении ее задач. Оно назначено, дабы будить леность одних и посрамить дерзость других, обещающих новые чудеса во всех науках, а также дабы уменьшить утомление и труд запутавшихся в Гордиевых узлах математики и без пользы расходующих силы своего ума. Сочинение предлагается ученым всего мира и в особенности знаменитым братьям Розового Креста в Германии.

Окончить трактат Декарт предполагает к Пасхе и издать его в сентябре 1620 года. По-видимому, дело ограничилось, однако, составлением одного заглавия. Балье, имевший в своем распоряжении неизданные бумаги Декарта, нашел между ними одну только рукопись, относящуюся к описываемой эпохе и озаглавленную *Олимпика*. Но Балье говорит, что в ней так мало связности и системы, что вряд ли Декарт мог когда-либо серьезно думать о выпуске ее в свет. Декарт сам, по-видимому, пришел к убеждению, что с одной идеей, хотя бы великой и гениальной, произвести реформу науки нельзя, и в автобиографических воспоминаниях «Рассуждения о методе» пишет:

«И так как это было дело великой важности, в коем надо было опасаться всякой поспешности и предубеждения, то я никак не должен был брать на себя довести его до конца прежде, чем достигну возраста более зрелого, чем 23 года, какие имел тогда, и прежде, чем употреблю много времени на подготовительную работу, искореняя из ума моего все недоброкачественные мнения, до того приобретенные, собирая запас опытов, который послужил бы материалом для моих размышлений, и упражняясь постоянно в принятом методе, дабы укрепляться в нем более и более».

Метод этот, как категорически заявляет тут же Декарт, – математический. «Но, – говорит он, – я чувствовал, прилагая его, что ум мой мало-помалу привыкает представлять предметы отчетливо и раздельно и что я могу надеяться приложить его к другим наукам, кроме алгебры, так как не подчинял его условиям какого-либо частного круга знаний».

Что касается геометрии и алгебры, «...точное соблюдение немногих принятых мною правил, – говорит Декарт, – доставило мне такую легкость в разборе многих вопросов, которыми занимаются эти две науки, что в два-три месяца, которые я употребил на их исследование, начиная с простейших и наиболее общих и пользуясь каждой находимой истиной, чтобы отыскивать новые, – я не только разрешил многие вопросы, казавшиеся мне прежде очень трудными, но пришел к тому, что в конце мог определять относительно даже незнакомых мне задач, какими средствами и насколько они могут быть решены. И притом не покажусь вам, быть может, очень тщеславным, если вы примете во внимание, что истина касательно каждой вещи только одна, и кто нашел ее, знает все, что о ней можно знать. Так ребенок, наученный арифметике, сделав правильно сложение, может быть уверен, что нашел касательно рассматриваемой суммы все, что ум человеческий может найти. И, во-вторых, что метод, научающий следовать истинному порядку и перечислять в точности все условия того, что ищется, обладает тем, что дает достоверность правилам арифметики».

Но для носившейся перед Декартом в его мечтах и принявшей теперь определенные контуры обширной научной реформы он чувствовал себя недостаточно созревшим. Контуры нужно было наполнить содержанием, предстояло еще многое увидеть и изучить.

Глава III. «Некая универсальная наука, служащая для извлечения истин из каких угодно предметов»

Дальнейшие скитания. – Галилей и Декарт. – Неудачное сватовство. – «Правила о направлении разума». – Сомнения Декарта и их границы. – Правила практической нравственности. – Возвращение в Париж. – Вечер у папского нунция

Скитания продолжались. В 1620 году Декарт посещает венский двор и осенью догоняет

свою армию, успевшую между тем дать решительное сражение и войти в Прагу. В чешской столице Декарта интересует знаменитая коллекция астрономических инструментов Тихо Браге, которую император Рудольф оберегал с такой скупостью, что не давал ею пользоваться даже великому Кеплеру. Но в период пребывания Декарта в Праге их уже не существовало: они были разбиты и уничтожены во время междоусобиц, терзавших Чехию.

Зиму 1620 года Декарт проводит на квартирах в южной Чехии, а весной 1621 года отправляется в Венгрию с армией графа Букоя, выступившей против Бетлена Габора, союзника чешских протестантов. Война окончилась неудачей, граф Букой был убит, и Декарт решил бросить военную службу. «Он говорил впоследствии, – замечает Балье, – о годах своей военной службы с холодностью и равнодушием, из которых всем было ясно, что на проделанные им кампании он смотрел как на простые путешествия, а на офицерский мундир как на паспорт, дававший ему доступ в интересные места». Из Венгрии он отправился в Силезию, присутствовал на собрании государственных чинов в Бреславле, затем через пограничные местности Польши проехал в Померанию, посетил берега Балтийского моря и через Штеттин отправился в Бранденбург и Голштинию. Отсюда он в ноябре вернулся в Голландию. Последняя поездка едва не стоила Декарту жизни. Ввиду предстоявшего ему короткого переезда морем он нанял для себя и своего слуги отдельное судно. Матросы заподозрили в Декарте богатого купца и, полагая, что он не знает фризского наречия, спокойно совещались в его присутствии о том, как его убить и ограбить. Положение было отчаянное. Декарт вынул шпагу и громовым голосом объявил, что проколет первого, кто осмелится к нему подойти. Мегеффи скептически относится к сообщению Балье, сделанному на основании рассказов самого Декарта, тем более, что во время пребывания своего в Бредде Декарт не мог познакомиться с фризским наречием. С психологической точки зрения в рассказе Балье ничего невероятного нет, даже если принять во внимание всю несомненную робость Декарта. Робкие люди в положениях, кажущихся им безвыходными, не прочь бряцанием оружия обратиться в бегство действительных или воображаемых врагов. В истории полемики Декарта мы не раз будем встречаться с аналогичным приемом.

В Голландии Декарт провел несколько месяцев. Здесь его жажда «видеть дворы» могла быть вполне удовлетворена: в Гааге было тогда целых три двора – двор Генеральных штатов, состоявший, выражаясь современным языком, из парламентских деятелей, военный двор штатгальтера и двор злополучного чешского «короля на час», курфюрста пфальцского, Фридриха V. Дочь курфюрста, будущая ученица Декарта, принцесса Елизавета, была тогда еще маленькой девочкой. Из Голландии Декарт отправился в Брюссель, где посетил двор инфанты Изабеллы, и в марте 1622 года вернулся, наконец, в Ренн к своему отцу, которого не видел девять лет.

Здесь, в маленьком провинциальном городе, Декарт провел около года, не решаясь отправиться в Париж, где тогда свирепствовала чума, и занялся устройством своих имущественных дел. Отец выделил ему приходившуюся на его долю часть материнского наследства, и Декарт стал подумывать о продаже своих земель. В 1623 году он отправился в Париж.

Между тем рассказы о розенкрейцерах достигли Франции, и ко времени прибытия Декарта в Париж распространился слух, что братство Розового Креста командировало шесть братьев во Францию. Французы и тогда отличались смешливостью и, предоставив немцам сочинять о розенкрейцерах ученые трактаты, сами приветствовали их карикатурными афишами, а на Pont-neuf распевались уже комические шансонетки об *Invisibles*. Приезд Декарта совпал с апогеем смешливого настроения парижан, остряки объявили его членом возбуждавшего всеобщую веселость братства, и Декарт очутился в чувствительном для него, при его самолюбии, комическом положении, из которого выпутался не без труда. Как рассказывает Балье, «он стал показываться всюду в обществе, чтобы наглядно доказать, что не принадлежит к числу *invisibles*». Пребывание в Париже при этих условиях, во всяком случае, было не особенно приятным, и Декарт составил план нового путешествия. Кстати, родные опять стали напоминать ему, что при его способностях пора бы давно уже составить

себе общественное положение, и Декарт, пользуясь тем, что один из его родственников был генерал-провиантмейстером альпийской армии, объявил, что поедет к нему, чтобы похлопотать о месте интенданта. Он поехал через Швейцарию, изучая своеобразные явления альпийской природы. Он наблюдал здесь снежные обвалы, в сопровождающих последние звуковых явлениях нашел аналогию с громом и пришел к заключению, что гром вызывается скатыванием сгущенных в виде туч водяных паров из верхних слоев атмосферы в нижние. В Модане он измерил высоту Мон-Сениса и через Тироль отправился в Венецию, где присутствовал на венчании дожа с Адриатикой. Здесь он вспомнил о данном им несколько лет тому назад обете и отправился в Лоретто. «Мы не знаем, как он совершил это паломничество, – замечает Балье, – но не будем сомневаться, что обстоятельства этого путешествия были в высшей степени назидательны, если вспомним, что, давая свой обет, он решил сделать все нужное для обеспечения себе покровительства Пресвятой Девы». В 1625 году Декарт присутствовал в Риме на юбилее, который папы для увеличения своих доходов стали праздновать каждые двадцать пять лет, и видел там большое стечение паломников из разных европейских стран. Через Тоскану он вернулся во Францию. Во Флоренции жил Галилей, находившийся тогда на вершине своей славы; государи и князья церкви при проезде через Флоренцию считали своим долгом навестить великого ученого. Но Декарт, по-видимому уже тогда ревниво относившийся к славе Галилея, не счел нужным познакомиться с ним.

«Галилея, – писал он много лет спустя Мерсенну, – я никогда не видел и не мог поэтому ничего заимствовать от него. В его сочинениях я не нахожу ничего, что внушало бы мне зависть, и почти ничего такого, что я готов был бы признать своим. Лучше других его сочинение о музыке (здесь Декарт смешивает Галилео Галилея с его отцом Винченцо, автором трактата о музыке). Но люди, знающие меня, скорее допустят, что он заимствовал от меня, чем обратное».

Знаменитые «Разговоры о системах мира» Декарт «...имел в руках только тридцать часов, тем не менее перелистал всю книгу» и находит, что Галилей «...довольно хорошо рассуждает о движении... Там и сям я не пропустил заметить *некоторые из моих мыслей*, между прочим две, о которых, *кажется*, писал вам».

Снисходительный отзыв о работах Галилея по вопросу о движении производит тем более комическое впечатление, что спустя шесть лет после того, как Галилеем были опубликованы законы движения в той формулировке, в какой они излагаются и сейчас, Декарт дал в своих «Началах» поразительно ошибочные законы движения. Таково, впрочем, общее отношение самолюбивого и ревнивого французского мыслителя к чужим трудам и заслугам.

Летом 1625 года Декарт вернулся в свое имение в Пуату «не интендантом» – к крайнему разочарованию своих родных. Родные не теряли, однако, надежды, что им удастся образумить молодого человека, и они сделали, по-видимому, попытку женить его. Хорошенькая барышня, которую прочили ему в жены, завела раз с Декартом небезопасный разговор о «различных видах красоты». Но Декарт, вместо ожидавшегося и вполне заслуженного комплимента, осторожно заметил, что «из всех известных ему видов красоты на него наиболее сильное впечатление произвела красота Истины». Сватовство, разумеется, окончилось неудачей; девица, однако, оказалась настолько умной, что не обиделась предпочтением, оказанным ее прекрасной сопернице, и впоследствии, обретя в лице туренского помещика более подходящую пристань, чем какой мог бы быть бездомный скиталец-философ, охотно рассказывала об этом эпизоде. В июле того же года, продав свое имение, Декарт отправился в Париж.

Документов, уясняющих внутреннюю жизнь Декарта за долгий период его скитальчества, у нас два: вторая и третья части «Рассуждения о методе» и написанные в эту пору «Правила о направлении разума». Более всего интересуется Декарта в эту пору его жизни вопрос о методе, успехи, достигнутые им в алгебре и геометрии благодаря применению правильного метода, придают в его глазах особенную важность этому вопросу.

«Люди, – говорит он в *Правилах*, – одержимы столь слепым любопытством, что часто направляют ум на неизвестные пути без определенной надежды, но только чтобы посмотреть, не находится ли там случайно то, чего они ищут, – словно человек, который был бы снедаем столь безумным желанием найти клад, что рыскал бы по всем дорогам, ища, не оставил ли такого какой-либо путешественник. Не отрицаю, что среди заблуждений иногда выходила удача встретить какую-нибудь истину. Но зато не могу почесть их более искусными, а назову их только более счастливыми. Лучше вовсе не искать истины относительно какой-либо вещи, чем искать без метода. Изучение без порядка и разные темные размышления только мутят естественный свет и погружают во мрак, а кто привыкнет ходить в темноте, у того так слабеет зрение, что он не может выносить дневного света. Опыт подтверждает это. Как часто видим, что люди не учившиеся судят обстоятельнее и яснее о представляющемся, чем постоянно ходившие в школу. Под методом я разумею определенные и легко исполнимые правила, строгое соблюдение которых не позволяет принимать за истину то, что ложно, и дает возможность уму, не истощаясь в бесполезных усилиях, доходить до истинного познания вещей, насколько только его можно достигнуть».

В необходимости методического исследования, в том, что предаваться занятию науками без метода скорее вредно, чем полезно, Декарт так убежден, что открывает существование «некоторого анализа» у древних геометров и полагает, что они «с достойной осуждения хитростью» скрыли от нас свой метод.

«Подобно тому, как многие ремесленники скрывают секреты своего изобретения, так и они, боясь, быть может, обнаружить простоту и ясность метода и обесценить его общедоступностью, предпочли – дабы заставить удивляться себе – представить нам, как произведение своего искусства, некоторые бесплодные, но и великие тонкости, выведенные ими, вместо того, чтобы сообщить само искусство».

Но Декарт не придавал бы большой цены открытым им правилам, если бы они годились только для решения пустых задач, какими любят занимать свой досуг счетчики и геометры, если бы благодаря своим правилам он достиг «только большей тонкости в занятии этими пустяками». Хотя он часто говорит «о фигурах и числах, ибо нет науки, к которой можно было бы обратиться за примерами столь ясными и верными, как представляемые математикой», но его «менее всего интересует обыкновенная математика». Он излагает «некоторую иную науку, для которой обыкновенная математика есть скорее оболочка, нежели часть. Эта наука должна содержать в себе первые зачатки нашего разума и, кроме того, служить для извлечения из любого предмета истин, в нем заключающихся. Сказать прямо, я уверен, что она предпочтительнее всех других наук, ибо есть их источник».

Он предполагает «в этом трактате (*Правилах*) в такой мере разыскать пути, открытые к исканию истины, чтобы человек, глубоко проникшийся этим методом – какова бы ни была посредственность его ума, – увидел, что всякая область знания для него открыта так же, как для других, и что если он не знает чего-либо, то зависит это не от недостатка ума или способности. Всякий раз, как он приложит ум к познанию какой-либо вещи, он или вполне достигнет своей цели, или откроет, что удача зависит от опыта, произвести который не в его власти, и не обвинит своего разума, хотя и вынужден будет остановиться, или наконец докажет, что искомая вещь превосходит все усилия человеческого ума».

После этого предисловия читатель, вероятно, сильно заинтересован столь многообещающими *Правилами*, и мы считаем себя обязанными удовлетворить его любопытство. Всех «правил» двадцать одно, но в более зрелом *Рассуждении о методе* они сведены к следующим четырем:

I. Принимать за истинное лишь то, что с очевидностью познается мною таковым, то есть избегать поспешности и предубеждения и принимать лишь то, что представляется так ясно и отдельно моему уму, что никаким образом не может быть подвергнуто сомнению.

II. Дробить каждую из трудностей, какие буду разбирать, на столько частей, сколько только можно, дабы их лучше решить.

III. Всякие мысли по порядку начинать с предметов простейших и легчайших и

восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания более сложных, допуская, что есть порядок даже между такими, которые, естественно, не предшествуют одни другим.

IV. Делать всюду перечни столь полные и обзоры столь общие, чтобы быть уверенным, что ничего не упущено.

Читатель разочарован? Но не имел ли он основания заранее скептически отнестись к обещаниям Декарта? Со времени составления *Правил* прошло два с половиной века, а сколько читатель знает патентованных ученых, так сказать, по долгу службы обязанных делать открытия и однако же их не делающих?.. Неужели же это происходит оттого, что они не знают декартова метода? Или же, может быть, для самого пользования этим методом требуется ум не «посредственный»? Ведь в умении отличать в вопросе «простейшие» (основные) стороны от «более удаленных», в умении отличать очевидное от вероятного и определять границы, за которыми начинается область «не точного» и не «несомненного», и состоит отличие ума незаурядного от посредственного. Кроме того, правильное представление о методе еще и по другой причине не обеспечивает правильного приложения этого метода. Последнее в несравненно большей степени, чем методологическими изысканиями, определяется медленно изменяющимися привычками мысли и состоянием материала, над которым приходится оперировать. Сам Декарт – ум далеко не заурядный – не всегда соблюдал им же составленные правила.

Уже в приведенных правилах содержится требование скептицизма, вполне определенно формулируемое Декартом и в *Правилах*, и в *Рассуждении о методе*, и в позднейших его произведениях. «Нет вопроса более важного, – говорит он в *Правилах*, – как вопрос, что такое человеческое знание. Вот что раз в жизни должен разобрать каждый сколько-нибудь любящий истину». Необходимо, говорит он в *Рассуждении о методе*, «раз в жизни удалить из своего убеждения все мнения, до того приобретенные, с целью заменить их потом лучшими или теми же, если окажутся на уровне разума». Драматическому описанию своих сомнений Декарт посвятил первые главы *Размышлений* и *Начал философии*. Душевная борьба, воспроизведенная на этих страницах, относится к описываемому периоду его жизни. Возникает "вопрос, насколько она была глубока, насколько *захватила* личность Декарта.

«Сомнения», несмотря на драматизм и приподнятый тон изложения, оставляют нас совершенно холодными. Ломки мирозерцания с ее потрясающими всю личность эффектами мы не видим, да ее и не могло быть. Старого мирозерцания не существовало, школьное мирозерцание не удовлетворяло уже шестнадцатилетнего юношу и никогда не было мирозерцанием Декарта. Ему не пришлось подвергаться мучительной операции выдергивания глубоко сидящих корней, переживать моменты сжигания старых идолов. Кроме того, перед нами несомненно не скептик, а человек, заранее убежденный в несомненности опытных и математических истин и верующий в истины другого порядка. Его «сомнения» вытекают всего только из потребности систематического ума обосновать логическим путем *несомненные* для него истины. Читатель все время чувствует, что этот «ищущий» ум удовлетворится легко и скоро – лишь только подыщет подходящий силлогизм.

Несравненно важнее определить границы сомнений Декарта: они будут в то же время границами его логической последовательности. Хотя Декарт и говорил, что необходимо «раз в жизни удалить из своего убеждения все мнения, до того приобретенные», но эта задача неосуществима, и сам Декарт ее не исполнил. Границы наших сомнений вне нашей власти; мы в этом отношении – дети нашей исторической эпохи, рабы определенного запаса фактических знаний. Видоизменение этих границ, – возникновение сомнений в казавшихся прежде несомненными «истинах», установка новых несомненных истин, – и в истории человеческой мысли и в истории отдельного человека совершается не путем самоуглубления и самозерцания, которое в лучшем случае может вскрыть только имеющийся уже, наличный душевный материал, а благодаря накоплению новых фактических знаний и установке новых ассоциативных путей. Пока человечество не стало накапливать ряда фактических данных, доказывавших, что земля кругла, никакое самоуглубление не могло

привести к сомнению в очевидном для всех факте плоского вида Земли. Пока не явился целый ряд данных, делавших все более и более запутанным" учение о движении небесных светил, не могло возникать сомнения в том, что Солнце движется по небесному своду, спускаясь со своим закатом в океан. Так было и с Декартом: он приступает к своим «сомнениям» с известным запасом научных и религиозных убеждений и выносит их, конечно, из своих сомнений целыми и невредимыми. Как ни интересно было бы дать полный перечень этих убеждений, определяющих пределы логической последовательности Декарта, ни размеры, ни задачи настоящего очерка не позволяют нам даже ставить этот вопрос в полном его объеме. Отчасти нам придется касаться его в дальнейшем изложении, теперь же сделаем только небольшое извлечение из вышеупомянутого уже дневника Декарта. В этом дневнике мы находим следующую интересную заметку: «Бог свершил три чуда: мир из ничего, свободную волю человека и Богочеловека». Если сюда прибавить бессмертие человеческой души, то мы и получим часть тех границ, которых не перейдет этот сильный и оригинальный ум. Напротив того, и сила и оригинальность его в значительной мере будут употреблены на то, чтобы втиснуть новое мирозерцание в заранее предначертанные рамки.

Еще уже границы логической последовательности Декарта в практической сфере. Как это ни странно на первый взгляд, к практической сфере Декарт относит и религию. Считаем нужным предупредить возможное недоразумение у читателя. Декарт – не религиозный энтузиаст, однако он верует в религиозные истины, из которых некоторые приведены нами выше. Но этими истинами не исчерпывается содержание католицизма. Несмотря на все старания Декарта оградить себя от возможных подозрений в еретичестве, несмотря на все старания Балье выставить его добрым католиком, факт этот подвержен серьезному сомнению. Близкое знакомство с жизнью Декарта и с его мирозерцанием приводит, напротив, к убеждению, что принадлежность его к католицизму является для него одним из фактов его практического житейского обихода, с которым он принужден считаться совершенно независимо от личных своих научных и философских взглядов. Вполне естественно поэтому, если он говорит о религии в составленных им для себя правилах житейской мудрости. Правил этих три:

«Во-первых, повиноваться законам и обычаям страны, сохраняя религию, в которой по благодати Божьей воспитан, и следуя во всем остальном мнениям наиболее умеренным, удаленным от всяких крайностей и общепринятым наиболее благоразумными людьми в кругу, где буду жить. А так как благоразумные могут быть также среди персов и китайцев, как и между нами, то мне казалось полезнейшим направлять себя согласно с теми, среди кого буду жить. В особенности в разряд крайностей я поставлял все обещания, более или менее ограничивающие свободу. Так как я не видел ничего в мире, что оставалось бы неизменным, и так как я лично стремился усовершенствовать более и более мои суждения, а никак не делать их худшими, то я полагал, что сильно погрешил бы против смысла, если бы, одобряя какую-либо вещь в данную минуту, я обязывал бы себя считать ее хорошою и тогда, когда она перестала быть таковой или я перестал ее таковой считать.

Во-вторых, – быть твердым и решительным в действиях и, приняв какое-нибудь мнение, хотя бы сомнительное, но на которое я раз решился, – следовать ему, как если бы оно было вполне истинное. Так заблудившийся в лесу путешественник не должен блуждать из стороны в сторону, а, выбрав путь, какой кажется вероятнейшим, следовать неуклонно ему, не сходя с него без поводов разве особенной важности. Если он и не придет к цели, то все-таки выйдет куда-нибудь, где ему, вероятно, будет лучше, чем среди леса. Так как житейские дела часто не терпят отсрочки, то несомненно, что мы должны довольствоваться вероятнейшим мнением, если не в состоянии отличить верного.

Третье правило – стремиться всегда побеждать скорее себя, чем судьбу, изменяя свои желания, а не порядок мира, и вообще привыкнуть к мысли, что вполне в нашей власти только наши мысли, так что когда мы сделали со своей стороны все возможное относительно внешних нам вещей, тогда то, в чем не успели, значит есть относительно нас нечто, абсолютно невозможное».

Декарт не одобряет «беспокойного и волнующегося нрава тех, которые, ни по рождению, ни по богатству не будучи призваны к ведению общественных дел, имеют всегда в мысли какое-нибудь преобразование... Великие государственные здания слишком нелегко поднять, если они повержены, трудно даже удержать от падения, если они поколеблены, и падение их сокрушительное... Далее, что касается их несовершенств, когда таковые бывают – а что бывает во многих, о том нетрудно заключить из их разнообразия – то практика без сомнения сильно смягчила их и позволила нечувствительно устранить и исправить многое, чего заранее не могло бы рассчитать никакое благоразумие. К тому же почти всегда несовершенства их легче переносятся, чем перемены. Так, большие дороги, извиляющиеся между гор, мало-помалу становятся столь наезженными и удобными от частого посещения, что много лучше следовать по ним, чем предпринимать более прямой путь, карабкаясь по скалам и спускаясь в пропасти».

Эти правила нравственности, проникнутые духом заботящегося только о личном покое оппортунизма, смущают даже благоговейного перед Декартом и часто наивного Балье. Последний старается оправдать своего героя тем, что правила носят временный характер и имели целью дать Декарту руководящую нить в ту пору, когда он не выяснил себе еще с определенностью вопросов практической жизни; в душе же Декарт разделял более высокую мораль св. Фомы Аквината. Этими «временными» правилами Декарт, однако, руководствовался всю свою жизнь. Причины следует искать в условиях эпохи и личных особенностях философа. После бурь реформационного периода наступила реакция с обычными своими спутниками: придавленностью и приниженностью, общественным индифферентизмом, ханжеством и лицемерием. Декарт – человек робкий и осторожный, не желающий ссориться ни с властями, ни с духовенством. Достигнуть этого было ему тем легче, что религиозные и общественные вопросы его мало интересуют. И в людях его поколения (мы говорим о Европе) эти вопросы не вызывают прежней страстности и одушевления, а самого Декарта математические задачи интересуют несравненно больше, чем Генеральные штаты и вопрос о происхождении папской власти. Он не противник существующего порядка, но и плохой его союзник, союзник индифферентный. Живи он в Персии или Китае, он был бы последователем Конфуция или шиитского толка, держался бы общественных взглядов китайцев и персов и в своем богатом запасе диалектики отыскал бы себе оправдание.

И, однако же, – такова ирония истории – Декарт безусловно должен быть причислен к числу тех, «которые, не будучи ни по рождению, ни по богатству призваны к ведению общественных дел», сокрушили старый порядок. Профессор Любимов (прекрасным переводом которого мы здесь неоднократно пользуемся), сочувственно относясь к приведенным правилам нравственности, указывает в то же время, что непрерывающаяся преемственность связывает идеи Декарта с идеями революционной эпохи. Явление это вполне понятно. Как бы ни отрецивался Декарт от «беспокойных» сторонников реформ, его философия была одним из симптомов того беспокойного исторического течения, которое, пройдя через несколько фаз, вымело из Франции остатки феодально-клерикального строя. Научное движение XVII века дало материалы (немаловажную долю их внес сам Декарт), из которых люди более смелые и отзывчивые к жгучим вопросам сковали оружие против тех элементов старого строя, с которыми считал возможным мириться Декарт под тем предлогом, что наезженные дороги лучше прямых.

В 1625 году Декарт, как мы уже говорили, вернулся в Париж много видевшим, объездившим почти всю тогдашнюю культурную Европу человеком. Вряд ли кто из научных деятелей его поколения совершил столько путешествий – впоследствии Декарт посетил еще Данию и, по-видимому, Англию, а последние месяцы своей жизни он провел в Швеции. Парижские друзья с радостью встретили его; он возобновил связи с Мерсенном и Мидоржем, познакомился с другими учеными, между прочим, со знаменитым геометром Дезаргом и с будущим комментатором своей «Геометрии» Боном. В этот свой приезд Декарт прожил в Париже три с половиной года и занимался математикой и физикой, а также наукой о

человеке – физиологией. В физике он больше всего интересуется оптикой, знакомится с искусным шлифовальщиком стекол Феррье и, с обычной своей способностью увлекаться, уверяет Феррье, что, если тот будет следовать его указаниям, то в его стекла можно будет «видеть, есть ли животные на Луне».

Большой круг знакомых скоро стал тяготить Декарта, и, как в первый свой приезд в Париж, он тайком от большинства друзей поселился в укромном уголке и, как тогда, спустя долгое время был случайно разыскан настойчивым родственником. Последний явился к нему на квартиру в одиннадцать часов утра и, наблюдая в замочную скважину, увидел, что Декарт еще лежит в постели, время от времени приподнимается, пишет и потом опять ложится «подумать». Неожиданное появление родственника не особенно обрадовало Декарта, и с досады он отправился к королевским войскам, осаждавшим Ла-Рошель, посмотреть вызывавшие тогда общий интерес в инженерном мире осадные работы.

Декарту шел уже 33-й год, прошло уже около девяти лет со времени «чудесного открытия», возбудившего в его душе столько ожиданий, – и однако, ничего еще не было сделано. Правда, он был искусный математик, успешно решавший трудные задачи, но разве об этом он мечтал? уверенность в себе, граничащая у Декарта с самообожанием, не исключает у него, по-видимому, в эту пору его жизни припадков сомнения в своих силах и в своем призвании. Только этим и можно объяснить тот факт, что напоминаний родных о служебной карьере Декарт никогда решительно не отклоняет, всегда уверяет их в своем согласии и старается только устроиться так, чтобы задуманные ими планы расстроились и чтобы его забыли. Он не в состоянии еще противопоставить этим напоминаниям сколько-нибудь определенный жизненный план, опасается разочарования в своих силах, не уверен в том, что мечты его сбудутся. Случай окончательно выясняет Декарту его призвание и укрепляет в нем решимость следовать по избранному пути.

Вскоре после своего возвращения из Ла-Рошели Декарт был приглашен на вечер к папскому нунцию, у которого собрался цвет светского и ученого Парижа. Новые философские системы росли тогда, как грибы после дождя, и были в моде. На вечере у нунция некто Шанду, авантюрист, алхимик и врач, казненный впоследствии за фабрикацию фальшивой монеты, излагал свою «новую философию». Как водится, изложению оригинальной системы предшествовала критика старой, схоластической философии. Старое до такой степени никого не удовлетворяло, так сильна была потребность в новом, что речь Шанду, не оставившего по себе никаких следов в истории, вызвала общий восторг и одобрение на этом собрании умнейших и ученейших людей Парижа, состоявшем к тому же в значительной части из консервативных элементов. Один только Декарт молчал. Кардинал Берюль, уже раньше знавший его и внимательно следивший за ним весь вечер, попросил его высказать свое мнение. Декарт, чувствующий себя вообще неловко в больших собраниях, долго отказывался, но наконец принужден был высказаться. Он заявил, что вполне согласен с той частью речи Шанду, которая посвящена критике схоластической философии; но предлагаемая Шанду новая философия столь же мало его удовлетворяет, как и схоластика. Подобно последней, она не стоит на прочном основании, опирается на предположения вероятных, но не несомненных. Между тем именно в этом обстоятельстве лежит причина неудовлетворительности схоластической философии. Чтобы доказать свою мысль о невозможности строить что-либо на положениях только вероятных, Декарт попросил присутствующих указать ему какую-либо несомненную истину и тут же двенадцатью аргументами – один вероятнее другого – доказал ее ошибочность, а затем попросил указать ему несомненную ложь и такими же аргументами доказал ее истину. Отсутствие прочных основ могло, по мнению Декарта, привести только к софистике и к умению говорить о том, чего не знаешь. На присутствующих обширная эрудиция Декарта и его диалектический талант произвели сильное впечатление. Кардинал Берюль попросил его зайти к себе и в беседе наедине высказал Декарту, как высоко он ценит его таланты, и убеждал его посвятить себя делу, для которого он обладает достаточными силами. По-видимому, «философия» Шанду представляла собой естественнонаучную теорию, так как, передавая беседу

кардинала с Декартом, Балье упоминает о пользе, «которую новая философия могла бы принести человечеству в области механики и медицины», успех, неожиданно выпавший на долю Декарта в этом блестящем собрании, и убеждения кардинала заставили его покончить со своими колебаниями. Тою же осенью он оставил Париж, чтобы в уединении в Голландии предаться научной работе.

Глава IV. В Голландии

Переселение в Голландию. – «Трактат о мире». – Известие об осуждении Галилея и авторитет «почитаемых особ». – Маленькая Франсина. – «Рассуждение о методе» и «Опыты». – Poleмика с Ферма

Переселение в Голландию вызвано было не одним только желанием уйти от многочисленных парижских знакомых и любовью к уединению. Были и другие еще мотивы. В Голландии существовали свободные учреждения, в ней получил признание принцип веротерпимости. Как замечает профессор Любимов, «хотя Декарт заботливо выделял область веры из своих исследований, всегда показывая себя и был верным сыном церкви, однако, оставаясь во Франции, он едва ли избежал бы... преследований». Таковы были те «наезженные пути», к которым так примирительно относился Декарт и по которым, однако, он предоставлял ходить другим; сам он, верный сын католической церкви и верноподданный французского короля, предпочитал жить в протестантской и республиканской Голландии. Как свидетельствует в своих письмах Декарт, он был далеко не единственным французом, проживавшим в Голландии. Голландия в это время, по его словам, была *refuge des catholiques* – убежищем католиков и французов, которым нелегко жилось под становившейся все более тяжелой рукой христианнейшего короля.

В Голландии Декарту нравился сам строй жизни деятельного народа, «более заботящегося о своих делах, чем любопытного к чужим». Он убеждает своего приятеля, писателя Бальзака, приехать в Голландию, и в письме, язык которого выгодно отличается от тяжеловесного языка сочинений Декарта, рисует ему прелести амстердамской жизни:

«Я не нахожу ничего странного, – пишет он, – в том, что ум такой широты и благородства, как Ваш, не может примириться с рабскими стеснениями *contraintes serviles*, господствующими при дворах. Я советовал бы Вам избрать своим убежищем Амстердам и предпочесть его не только всем капуцинским и картезианским монастырям, но и красивейшим местам Франции и Италии и даже тому уединению, в котором Вы были прошлым годом. Как бы ни была хорошо устроена деревенская усадьба, в ней всегда недостает множества удобств, какие можно найти в городе, а уединение никогда не бывает полным. Вы найдете там поток, могущий привести в мечтательное настроение самого отчаянного болтуна, уединенную долину, вызывающую восхищение и радость. Но можете ли Вы оградить себя от кучи соседей, являющихся надоедать Вам и посещения которых еще неприятнее, чем визиты парижских знакомых? А между тем здесь, в Амстердаме, кроме меня, нет человека, не занятого торговлей, и все так озабочены наживой, что я мог бы прожить всю жизнь, никем не замеченный. Каждый день я прогуливаюсь среди толкотни многолюдного населения с такой же свободой и спокойствием, как Вы в Ваших аллеях. На встречающихся мне людей я смотрю, как смотрел бы на деревья в Ваших лесах; сам шум их забот не более прерывает мои мечтания, чем прервал бы их шум потока... Когда я размышляю об их действиях, то получаю такое же удовольствие, какое ощущаете Вы при виде крестьян, обрабатывающих Ваши поля; я вижу, что труд их служит к украшению моего жилища и к тому, чтобы я ни в чем не нуждался. Вам приятно видеть, как зреют плоды в Ваших садах, и чувствовать себя среди изобилия. Но разве менее приятно видеть приходящие корабли, обильно несущие все, что производит Индия, все, что редко в Европе? Где в другом месте на земле так легко было бы найти все удобства жизни и все редкости? В

какой другой стране можно наслаждаться такой полной свободой? Где можно спать так спокойно? Где всегда готова вооруженная сила, предназначенная исключительно для Вашего охранения? Где менее известны заключения в тюрьму, измены, клевета и где более сохранились остатки невинности наших предков? Не понимаю, как можете Вы так любить Италию с ее воздухом, так часто носящим в себе заразу, Италию, где дневной зной невыносим, вечерняя свежесть нездорова, а темнота ночи скрывает разбойников и убийц? Вы боитесь зимы? Но какая же тень, какой веер, какие фонтаны охранят Вас в Риме так хорошо от зноя, как здесь натопленная печь охраняет от холода?»

Переезд свой в Голландию Декарт обставил рядом предосторожностей. Он тогда уже интересовался медициной и начинал руководствоваться гигиеническими правилами, игравшими потом в его жизни немаловажную роль. Теплый климат Парижа он считал для себя вредным, тем более, что по его убеждению он страдал «горячностью печени»; воздух Парижа при этих условиях содержал в себе для него «очень тонкий и весьма опасный яд, поддерживавший в нем тщеславие и порождавший в его мозгу химеры». В этом Декарт убедился, когда принялся писать в Париже «О Божестве». Но, прежде чем переехать в Голландию, Декарт считал нужным приучить себя к более холодному климату и провел целую зиму в неизвестной нам местности на севере Франции. Затем Декарт избрал своим девизом: «*Qui bene latuit, bene vixit*» (счастлив тот, кто прожил свою жизнь скрытым от всех) и в течение двадцати лет своего пребывания в Голландии пятнадцать раз менял место своего жительства. Жил он большею частью в предместьях больших городов или в деревне, тщательно скрывая свой адрес от своих корреспондентов. Из французских друзей адрес Декарта был известен только Мерсенну, который был возведен в звание «резидента Декарта во Франции», как называли доброго францисканского монаха шутники. Все письма, предназначавшиеся для Декарта, посылались Мерсенну, и он уже доставлял их адресату. На Мерсенне лежала также обязанность уведомлять Декарта обо всех новостях из научного мира, и Мерсенн, бывший в переписке со всеми крупнейшими учеными эпохи: Галилеем, Гассенди, Гоббсом и другими, соединявший в своем лице роль «Академии наук» и научного органа печати, добросовестно исполнял эту обязанность. На ответных письмах Декарт вместо действительного своего места жительства всегда проставлял какой-нибудь крупный центр, чтобы лишить своих корреспондентов возможности не только узнать его адрес, но и проверить точность его показаний. Девиз свой Декарт осуществил с таким успехом, что некоторые французские ученые, путешествовавшие по Голландии и желавшие видиться с Декартом, никак не могли его разыскать. Оградив себя таким образом от надоедливых посетителей, Декарт не был, однако, совершенно одинок. Он завязал связи со многими голландскими государственными деятелями и учеными, и это обстоятельство имело потом большое влияние на распространение его теорий в Голландии.

Первое время Декарт продолжает работать над начатым в Париже трактатом «О Божестве», но, несмотря на перемену климата, работа у него идет неуспешно, он забрасывает ее и переходит к естественнонаучным занятиям. Любопытный феномен, наблюдавшийся в Риме в 1629 году и состоявший в появлении вокруг Солнца пяти ложных солнц (паргелиев), – о чем сообщил Декарту Мерсенн, – опять оживляет в нем интерес к оптике и направляет на изучение радуги, так как Декарт совершенно правильно ищет причину паргелиев в явлениях преломления и отражения света. От оптики он переходит к астрономии и медицине – точнее, к анатомии. Высшая цель философии состоит, по его мнению, в принесении пользы человечеству; он дорожит в этом отношении особенно медициной и химией и ожидает блестящих результатов от приложения к этим наукам математического метода. Анатомию Декарт изучает не по атласам и книгам, а сам анатомирует в большом числе животных. Изучение естественных наук при помощи самостоятельных исследований было так мало распространено в то время (не привилось оно еще вполне и в нашей школе, сохранившей много остатков схоластики, и теперь еще можно встретить «психологов», знакомых с нервной системой «по атласу»...), что анатомические занятия Декарта вызвали рад насмешек. Между прочим, распространился слух, будто Декарт «ходит по деревьям и

присутствует при убое свиней». Добродушный Балье энергично протестует против этой клеветы и заявляет, что Декарт никогда с этой целью по деревням не ходил. Но, проживая в Амстердаме, он всякий день (а в других местах – часто) отправлялся на бойню, рассматривал органы только что убитых животных и некоторые органы, более его интересовавшие, заставлял приносить себе на дом для более обстоятельного изучения.

В своих исследованиях Декарт является тонким наблюдателем, но он не ограничивается этой ролью и всюду ищет ответ на вопрос «почему?» Перед нами ум, интересующийся главным образом причинной связью между явлениями, и там, где данных для выяснения этой причинной связи недостаточно, предпочитающий смиренному признанию своего неведения смелые гипотетические построения. Небольшого числа наблюдений и аналогии для него достаточно, чтобы построить теорию, в которую потом будут втискиваться реальные факты, – причем большей частью Декарт остается неверен им же составленным правилам. Второе «правило» – заниматься только теми предметами, о которых ум наш способен приобрести знание точное и несомненное, – он игнорирует совершенно. Со свойственной ему способностью увлекаться он сообщает Мерсенну, что в анатомии не знает ни одной детали, ни одного мелкого факта, происхождения которого не мог бы в точности объяснить естественным путем, а после нескольких месяцев занятий астрономией пишет своему приятелю, что с надеждой на успех приступает к уяснению причины существующего распределения постоянных звезд. То и другое, как известно, представляет не достигнутый пока еще идеал даже для современной, несравненно более богатой фактическим материалом науки. «Хотя, – продолжает Декарт в последнем, весьма интересном письме, освещающем его мирозерцание, – постоянные звезды кажутся беспорядочно рассеянными в пространстве, я не сомневаюсь, что в их распределении существует определенный, правильный порядок. Знакомство с этим порядком является ключом к высшему доступному для человечества знанию относительно материального мира. При посредстве этой высшей науки можно было бы аргюігі знать все явления природы, тогда как теперь мы должны довольствоваться знанием апостериорным».

Мерсенн был сильно заинтересован столь многообещающими исследованиями и настойчиво просил Декарта опубликовать их. Но Декарт откладывает печатание с года на год. «Я не такой дикарь, – пишет он Мерсенну, – чтобы не радоваться, когда меня помнят и хорошо обо мне думают. Но я предпочитал бы, чтобы обо мне совсем не думали. Я скорее боюсь славы, чем желаю ее, так как она всегда ограничивает свободу и досуг. Свободу и досуг, которыми я теперь обладаю вполне, я ценю так высоко, что ни один монарх в мире не обладает достаточными богатствами, чтобы купить их у меня. Тем не менее, я окончу обещанный вам небольшой трактат, но я работаю над ним очень медленно, так как мне доставляет больше удовольствия учиться самому, чем заносить на бумагу то немногое, что я знаю. Учиться – для меня такое наслаждение, что я принужден употребить насилие над собой, чтобы засадить себя за трактат, который, однако, я обещаю вам окончить к началу 1633 года, чтобы этим обещанием принудить себя писать. Если вы найдете странным, что я не оканчиваю других трактатов, начатых в Париже, то я скажу вам, что, работая, я приобрел больше знаний и по мере их приобретения все расширял свои планы». В середине 1633 года Декарт действительно известил Мерсенна, что трактат «О мире» уже готов и что он отложил его в сторону на несколько месяцев, чтобы тогда окончательно пересмотреть и исправить. Осенью Декарт приступил к пересмотру и счел нужным предварительно ознакомиться с «Диалогами о системах мира» Галилея. Он обратился к друзьям в Лейден и Амстердам с просьбой прислать ему эту книгу и, к крайнему своему изумлению, получил в ответ известие, что в июне того же года «Диалоги» были сожжены инквизицией, и престарелый их автор, несмотря на заступничество влиятельных лиц, осужден был сначала на заключение в инквизиционной тюрьме, а затем был подвергнут аресту в деревенском доме, где ему предписано было в течение трех лет читать раз в неделю покаянные псалмы.

Декарт не на шутку перепугался. Он тотчас же понял, что единственной причиной осуждения Галилея могла быть только защита учения о движении Земли, хотя в 1620 году

инквизиция, запрещая рассматривать движение Земли как несомненную истину, разрешила говорить о нем как о гипотезе. Декарт решил было в первую минуту сжечь свои рукописи. «Если, – пишет он Мерсенну, – это учение ошибочно, то ошибочны все основы моей философии, так как оно необходимо вытекает из них. Оно так тесно связано с другими частями моего трактата, что я не могу выпустить его, не изуродовав всего остального. Но так как я ни за что в мире не желаю быть автором сочинения, в котором есть хотя бы одно слово, не одобряемое церковью, то я предпочитаю совсем уничтожить свое произведение, чем выпускать его в свет искаженным. Все, что я говорю в трактате, так тесно связано друг с другом, что мне достаточно знать, что в нем есть хотя бы одно ложное положение, чтобы быть убежденным в ложности и всех прочих. Хотя я и полагал, что они опираются на несомненные и очевидные доказательства, но я не желаю защищать их вопреки постановлению церкви. Конечно, я знаю, что постановления инквизиторов – не догматы, что догматы устанавливаются собором. Но я не желаю руководствоваться такими соображениями. Я никогда не был охотником писать книги, и если я обещал вам этот трактат, то только потому, что думал таким образом побудить себя к более тщательному изучению».

Напрасно Мерсенн (сам – францисканский монах!) успокаивает Декарта, указывает ему, что юрисдикция инквизиции не распространяется даже на галликанскую, французскую церковь, не говоря уже о Голландии, и сообщает ему, что в Париже одно католическое духовное лицо, несмотря на осуждение Галилея, собирается выпустить в свет книгу о движении Земли. Декарт на минуту успокаивается, обещает даже содействовать автору своими советами, но, прочитав в подлиннике декрет инквизиции, где было сказано, что Галилей «притворно говорил о движении Земли как о гипотезе», – тотчас же обращается в бегство и отказывается давать советы, «не считая себя вправе вредить другому лицу». Даже в «Рассуждении о методе» Декарт не стесняется говорить «о почитаемых особах (инквизиторах), авторитет которых по отношению к моим действиям для меня таков же, как авторитет моего разума по отношению к моим мыслям». Каково было действительное мнение Декарта об авторитете этих «почитаемых особ», видно из того, что в письме к Мерсенну он выражает надежду на скорую отмену декрета, так как примирилась же церковь с учением об антиподах, которое папа Захарий осудил как богопротивное, тогда как теперь папы снаряжают к этим самым антиподам миссии для обращения их в католичество. Но, как во многих других случаях, Декарт считает нужным привести благовидные мотивы для оправдания действий, вытекавших из инстинкта самосохранения в самом грубом, примитивном его виде...

Наконец, Декарту удалось достать сочинение Галилея, и он на мгновение было утешился: инквизиторы имели-де полное основание осудить книгу Галилея и вряд ли найдут основание осудить теорию Декарта, так как по теории Декарта «Земля, хотя и движется, тем не менее пребывает в покое»; она уносится потоком материи и ее можно поэтому сравнить с человеком, сидящим в лодке, который, пребывая в покое, тем не менее передвигается вместе с лодкой. Ввиду этого Декарт полагает, что его учение ближе к одобренному церковью учению Тихо де Браге, отрицавшего движение Земли вокруг Солнца, чем к учению Коперника, и стоит в полном согласии со Св. Писанием. Но и это соображение не могло побудить Декарта к изданию «Мира», и он напоминает Мерсенну стих Горация: «*Nonum prematur in annum*» (выпускай в свет книгу на девятый год).

Эта страница из жизни Декарта ничего не прибавит к его славе и вряд ли усилит уважение читателя к французскому мыслителю. Мы не можем оправдывать его даже условиями его века: Декарт в данном случае стоит ниже уровня своего поколения. Как свидетельствует Балье, несколько католических ученых вне Италии выступили в то время, несмотря на осуждение Галилея, с защитой учения Коперника. Приятель Декарта Мерсенн был несравненно мужественнее его: несмотря на запрещение печатать какие-либо сочинения Галилея, он принял на себя издание галилеевых «Разговоров о механике». Переходим к дальнейшему изложению занятий Декарта.

В 1634 году он составил набросок своего этюда «О человеке и образовании зародыша».

По несколько странному стечению обстоятельств Декарт, как замечает Мэгеффи, имел в эту пору возможность производить «наблюдения» по интересовавшему его вопросу. В 1635 году у него родилась дочь, Франсина. Сведения наши о жизни этого маленького существа отличаются необычайной обстоятельностью по пункту, о котором в других случаях умалчивают даже обстоятельнейшие биографии, и крайней скудостью в прочих отношениях. На чистом листке одной книги Декарта мы находим запись: «Зачата 15 октября 1634 года». Но о матери ребенка мы ничего не знаем; впоследствии Декарт вел переговоры с одной родственницей о воспитании Франсины, откуда можно заключить только, что мать ее не представляла достаточных гарантий в этом отношении; связь, во всяком случае, была мимолетная. Романические элементы вряд ли имелись в натуре Декарта, и Мэгеффи делает, может быть, слишком суровое по отношению к Декарту предположение, что рождение на свет Франсины было плодом его любознательности. Во всяком случае, Декарт горячо был привязан к своей маленькой дочке. Франсина жила недолго, и смерть ее в 1640 году от скарлатины была тяжелым ударом для отца.

В 1635 году Декарт заинтересовался формой снежинок, занимавшей уже Кеплера, и написал этюд, включенный им впоследствии в «Опыт о метеорах». Наблюдениями своими он был так доволен, что выражал желание, чтобы и другие «нужные для подтверждения его теории опыты точно так же падали с облаков и чтобы нужно было иметь только глаза, чтобы их видеть». Около того же времени он написал маленький трактат по механике для своего голландского приятеля Гюйгенса-Зюйлихема, отца знаменитого Гюйгенса.

Хотя Декарт и заявлял, что никогда не стремился к тому, чтобы быть «составителем книг (faiseur des livres), тем не менее вполне естественная потребность познакомить общество с результатами своих исследований была в нем настолько сильна, что в конце 1636 года он, к радости Мерсенна, известил его о своем намерении печататься. Из „Мира“ были выделены безобидные отделы: „О свете“ (диоптрика) и „О метеорах“, написана была заново „Геометрия“, и этим трем опытам предпослано было „Рассуждение о методе“. Вначале книге предполагалось дать заглавие: *Проект всеобщей науки, могущей возвысить нашу природу до высшей степени совершенства; с приложением Диоптрики, Метеоров и Геометрии, где любопытнейшие вещи, какие автор мог выбрать в качестве образчиков предлагаемой им всеобщей науки, объяснены так доступно, что даже люди, ничему не учившиеся, могут понять их.* Впоследствии это широковещательное заглавие заменено было более скромным: «Рассуждение о методе, дабы хорошо направлять свой разум и отыскивать научные истины, с приложением Диоптрики, Метеоров и Геометрии – образчиков этого метода». В июне 1637 года книга вышла из печати. Это было если не начало новой эры, то, во всяком случае, крупное событие в истории человеческой мысли. Появился новый центр для кристаллизации сформировавшихся уже, но еще разрозненных и неорганизованных элементов нового мирозерцания. Новое мирозерцание вылилось в одну из более или менее устойчивых своих форм; лишний раз выяснился путь, по которому пойдет развитие человеческой мысли.

Прежде всего выяснилось, что наступает эпоха демократизации науки, что наука не будет уже более достоянием кучки педантов, говоривших и писавших на мертвом языке. Книга была написана и издана на народном, французском языке. Правда, уже за столетие до Декарта один из борцов против схоластики, Петр Рамус, написал диалектику на французском языке, но пример его не нашел подражателей. Теперь научная литература решительно делается народной. Некоторое время научные сочинения выходят еще в свет одновременно на латинском и национальных языках, а затем латинские издания исчезают совершенно. Важность этого факта в смысле распространения научных знаний в обществе очевидна. Некоторые неудобства, вытекавшие из того, что научная литература из международной сделалась национальной, устранялись распространением знакомства с главнейшими культурными языками; писатели же, принадлежавшие к народностям менее культурным, продолжали по-прежнему писать на латинском языке или на одном из более распространенных новых языков: так, немцы еще до середины XVIII века писали по-латыни или по-французски.

Печатая свое первое сочинение на французском языке, Декарт давал себе ясный отчет в условиях своего времени. Вполне уверенный в сочувствии публики, он отчетливо представлял себе оппозицию, какую вызовут его взгляды со стороны патентованных ученых. «Сочинение мое, – пишет он в заключительных строках „Рассуждения о методе“, – я написал по-французски, на языке моей страны, а не на латинском языке моих наставников, в той надежде, что те, кто пользуется только естественным своим разумом в его чистоте, будут судить о мнениях моих лучше, чем те, кто верит только древним книгам. Те же, которые соединяют здравый смысл с ученостью и каких я единственно желаю иметь моими судьями, я уверен, не будут настолько пристрастны к латыни, чтобы отказаться выслушать мои доводы потому только, что я их изложил на языке простых людей».

Во-вторых, определенно выяснилось, что новое мирозерцание будет научным и светским. Тщательно отграничивая свою область от области богословия, новое мирозерцание почтительно предоставило теологам заботы о спасении души, себе же ставит задачей улучшение земной жизни человечества и в первых попытках формулировки (у Декарта точно так же, как у столь противоположного ему по общему мировоззрению Бэкона) носит даже узко утилитарный характер:

«Новые начала, – пишет Декарт в последней части *Рассуждения*, – показали мне, что можно достичь знаний полезных в жизни и вместо умозрительной философии, какую преподают в школах, найти практическую, помощью которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех других окружающих нас тел, столь же отчетливо, как знаем разные мастерства наших ремесленников, мы могли бы употребить их к применениям, какие им свойственны, и сделаться господами и владетелями природы. Такие знания желательны не только для изобретения бесчисленного множества приемов, дабы без труда пользоваться произведениями земли и всеми удобствами, на ней встречающимися, но особенно для сохранения здоровья, первого и основного блага в этой жизни. Дух так много зависит от темперамента и от расположения органов, что, если можно найти какое-либо средство сделать вообще людей более умными и более искусными, чем каковы они ныне, средство это должно искать в медицине. Правда, нынешняя медицина мало содержит вещей, польза которых была бы так значительна, но, не имея никакого намерения унижать ее, я уверен, что нет человека, даже между занимающимися ею по профессии, который бы не признал, что известное в ней – почти ничто в сравнении с тем, что предстоит узнать, и что можно бы освободиться от множества болезней и даже, может быть, от ослабления в старости, если бы мы имели достаточно познаний об их причинах и о целебных средствах, устанавливаемых природой. Возмев намерение всю жизнь посвятить исканию столь необходимой науки и найдя путь, долженствующий, кажется мне, безошибочно вести к ней, если не помешает краткость жизни и недостаток опытов, я полагал, что нет лучшего средства против этих двух препятствий, как верно сообщать публике то немногое, что найду, и пригласить других идти далее, содействуя, по мере склонности и силы, опытам, какие надлежит сделать, и сообщая все приобретенное публике, так, чтобы последующие начинали там, где кончили их предшественники, и чтобы, соединяя таким образом жизнь и труд многих, мы могли бы вместе прийти гораздо дальше, чем мог бы сделать каждый отдельно».

Тем не менее, философия Декарта сохранила умозрительный характер и в сравнительно слабой мере опиралась на опыт. В этом состоит крупнейшее ее отличие от другого течения новой мысли, получившего методологическую формулировку главным образом у английских эмпириков. Причины, благодаря которым в методе Декарта сохранились на самом деле элементы, несостоятельность которых он теоретически сознавал, сложны. С одной стороны, влияли блестящие успехи математики и точных наук, характеризующие собою эпоху, математический склад ума самого философа и представление о том, что математическая дедукция составляет венец научного метода, – представление совершенно правильное, но приложимое только к науке, достигшей известного и притом высокого уровня развития. С другой стороны, влияли схоластические привычки мысли, вера в силу логических построений, противопоставление чувствам и опыту независимой от них

верховой способности, «разума», – тогда как контроль «разума» в конце концов сводится к проверке чувственных показаний *чувствами же*, только при другой обстановке и других условиях. Обусловленные этими моментами недостатки декартова метода были, однако, менее всего ощутимы в «Опытах». Оптика уже в александрийскую эпоху достигла такой высоты развития, что допускала приложение математической дедукции, и математический гений Декарта мог, таким образом, проявиться здесь в полном блеске.¹

Элементу, соприкасающемуся с богословием, в *Рассуждении* отведено ничтожное место. Только четвертая часть посвящена «доводам, доказывающим существование Бога и бессмертия души», и сам Декарт признавал эту часть «неудачнейшей частью» своей книги, написанной спешно, во время самого печатания. Первые три и шестая носят в значительной степени автобиографический характер; кроме того, во второй изложены методологические правила, приведенные нами выше, а в третьей – также трактованные уже нами правила нравственности. В пятой части Декарт излагает содержание оставшегося в рукописи трактата «О Мире» и особенно подробно излагает незадолго перед тем опубликованное исследование Гарвея о кровообращении, встретившее упорную оппозицию в ученом мире. «Рассуждение о методе», в котором уже современники не видели систематического методологического трактата, благодаря прекрасному образному языку, остроумию и биографическому интересу одно только из сочинений Декарта сохранило до сих пор привлекательность для большого круга читателей. Сам Декарт придавал ему второстепенное значение и предпослал его «Опытам» только для того, чтобы убедить читателей, что к выработке новых научных взглядов он приступал «не сгоряча и не по легкомыслию».

Центр тяжести книги лежал, во всяком случае, в «Опытах». Ошибочно было бы думать, что они в самом деле написаны были так популярно, как обещало первоначальное заглавие. *Геометрию* Декарт намеренно писал запутанно, «чтобы лишить завистников возможности сказать, что все это они давно знали». Для этого он выпустил при труднейших задачах анализ, оставив только построение, и потом перечислял по пальцам людей, которые при этих условиях смогут понять его книгу. Таких оказывалось очень немного, и в числе их Декарт не мог назвать ни одного профессора лейденского и амстердамского. Трудностью изложения «Геометрии» Декарт рассчитывал воспользоваться и в других видах: он желал отбить охоту вступать с ним в пререкания у людей, полемизировать с которыми почему-либо считал для себя неудобным. Когда один из иезуитов, которым послана была книга с галантной, но не искренней просьбой сообщить автору – бывшему ученику иезуитов – «свои замечания и таким образом продолжать поучать его», – принял всерьез просьбу Декарта и обещал ему прислать свои замечания, то Декарт поспешил поблагодарить его и пригласил прежде всего просмотреть «Геометрию», причем коварно заметил, что для того, чтобы проделать все вычисления, достаточно нескольких дней. Почтенный член «общества Иисусова», по-видимому, сломал себе зубы на этой работе и предпочел не утруждать Декарта возражениями.

Несравненно популярнее написаны были *Диоптрика и Метеоры*. Сам Декарт был очень доволен своими *Опытами*. Он говорил, что не думает, чтобы когда-либо ему пришлось выпустить или изменить в них хотя бы три строки; что если в напечатанном есть хотя бы ничтожнейшая ошибка, то все его принципы никуда не годятся. Что же касается «Геометрии», то она такова, что он ничего большего не может желать;

¹ В «Опытах», между прочим, даны были закон преломления света и объяснение радуги. Право первенства на эти открытия не принадлежит Декарту. Закон преломления света был открыт Снеллем, и снеллевский закон преломления излагался в голландских университетах задолго до выхода в свет «Диоптрики». То же объяснение радуги, при помощи тех же опытов с наполненным водою стеклянным шаром дано было задолго до Декарта Антониом де Доминис. Своеобразный взгляд Декарта на «мое» и «твое» в области науки, его ревнивое себялюбие, упорное замалчивание им заслуг своих предшественников (кроме Гарвея, он никого из них не упоминает и всюду говорит от своего имени), – лишают нас возможности высказаться относительно того, насколько он был оригинален в обоих случаях. Во всяком случае, он много содействовал популяризации этих важных открытий.

общераспространенную геометрию она превосходит настолько же, насколько «Риторика» Цицерона выше детской азбуки.

Тем не менее, во Франции нашлись математики равной или почти равной с Декартом силы – во главе их Ферма, – которые приняли приглашение Декарта прислать свои критические замечания. Завязалась полемика, которую Мерсенн всячески старался раздуть в дорогих для него интересах науки и ради вящего уяснения истины. Декарт обнаружил в этой полемике заносчивость и нетерпимость, которым предстояло впоследствии принять еще более значительные размеры и которые производят тяжелое впечатление в споре с такой личностью, как Ферма, в особенности при сопоставлении их с почти униженно вежливыми ответами Декарта на возражения влиятельных духовных лиц. В полемике этой Декарт считал победителем себя, но современные историки математики стоят на стороне Ферма и признают, что в своем трактате «О наименьших и наибольших величинах» Ферма очень близко подошел к открытию дифференциального исчисления.

Глава V. Философия Декарта

1) Метафизика: сомнения. – «Мыслю, следовательно существую». – Мыслящая и протяженная субстанция. – Бессмертие души. – Доказательства бытия Божия. 2) Научные теории: единство и непрерывность материи. – Вечность энергии. – Вихри. – Физиология. – Автоматизм животных. – Разумная душа

В ту эпоху жизни Декарта, к которой мы подошли, мирозерцание его можно считать вполне сложившимся. Написан «Мир» и отрывки его напечатаны в виде «Опытов». Последняя глава неизданного «Мира» посвящена «разумной душе» и содержит психологию Декарта. В четвертой части *Рассуждения о методе* изложены в общих чертах его метафизические взгляды. Мы имеем поэтому полное основание именно здесь познакомить читателей с философией Декарта и сделаем это в интересах большей ясности дальнейшего изложения. Мы только просим читателей не упускать из виду, что метафизические и психологические взгляды Декарта, на которых так сильно отразилось влияние теологии, получили более полную формулировку уже в последующих его произведениях. Только имея это в виду, читатель поймет причину различного отношения к Декарту литературных партий и групп его времени в различные периоды его деятельности. В *Опытах* и *Мире* Декарт по преимуществу научный мыслитель, в последующих произведениях – метафизик, не свободный от подозрений в заигрывании с духовенством. И, однако, метафизические и научные его взгляды стоят в такой тесной связи, что ради связности изложения и ввиду недостатка места мы принуждены начать с изложения его метафизических взглядов.

1. Метафизика

Мы являемся в мир детьми и составляем себе суждение о внешних предметах раньше, чем мы в состоянии пользоваться разумом. Вследствие этого у нас возникает много предрассудков и заблуждений. Если мы желаем освободиться от них, то необходимо раз в жизни усомниться во всем. Мы будем считать ложным даже то, что представляется нам только сомнительным, и успокоимся только тогда, когда найдем вполне несомненную истину.

Мы усомнимся поэтому прежде всего в существовании внешних предметов, познаваемых нашими чувствами. Часто убеждались мы, что чувства обманывают нас, и рассудок заставляет нас не слишком доверять тому, что обманывало нас хоть однажды. Кроме того, во сне нам кажется, что мы видим многое, не существующее в действительности, а между тем нет признака, при помощи которого можно было бы с уверенностью отличить состояние сна от бодрствования.

Мы усомнимся затем во всем, что мы до сих пор считали за наиболее достоверное, –

даже в математических истинах вроде того, что $2 + 3 = 5$, и в истинах, которые до сих пор считали очевидными и не требующими доказательств (например, что часть меньше целого). Ведь многие ошибались и в этом и считали несомненными и очевидными такие положения, которые мы теперь признаем ложными. Кроме того, мы знаем, что существует всемогущий Бог и, быть может, он создал нас такими, что мы ошибаемся в том, что кажется нам наиболее очевидным. Таким образом, мы можем усомниться во всем, можем предположить, что не существует Бога, что нет неба и никаких внешних тел. Я могу усомниться в том, что у меня есть руки и ноги. Не могу усомниться я только в одном, что я, сомневающийся во всем этом, существую. Всемогущий дух может меня обманывать, я могу ошибаться, но для того, чтобы я мог ошибаться, я – ошибающийся, обманываемый, сомневающийся, вообще мыслящий – должен существовать. Я мыслю, следовательно существую. Это – не силлогизм, а непосредственно усматриваемая истина, интуиция, хотя она и имеет внешнюю форму силлогизма. Вот несомненная истина, то основание, на котором только и можно построить истинную философию.

Рассматривая полученную им истину, Декарт делает методологический вывод, имеющий большое значение для всей его философии. Если истина «мыслю, следовательно существую» несомненна, то потому, что она усматривается *ясно и отдельно*. Все, усматриваемое нами ясно и отдельно, – несомненная истина.

Когда впоследствии критики обратили внимание Декарта на то, что сходное положение («ошибаюсь, следовательно существую») было высказано уже блаженным Августином, то Декарт согласился с этим и указал только, что он вывел из этого положения следствия, о которых не думал Августин. Из положения «мыслю, следовательно существую», по мнению Декарта, не только с несомненностью вытекает факт моего существования, но оно бросает также свет на характер нашего познания и на свойства нашей природы. Важно уже то обстоятельство, что единственным несомненным для нас фактом оказалось раньше состояние сознания. Действительно, состояния сознания составляют первичный и несомненный элемент нашего познания. Выводы, делаемые нами на основании их относительно внешнего мира, могут быть ошибочны; но сами состояния сознания, раз они нами переживаются, не могут подлежать сомнению. Если я получаю зрительное ощущение какого-нибудь предмета, то самого предмета может не существовать, мое ощущение, может быть, галлюцинация, но что у меня существует данное ощущение – несомненно. Таким образом, наши состояния сознания составляют первичный элемент нашего познания; только через их посредство мы приходим в соприкосновение с внешним миром. «Душу нашу, – говорит (в некоторой степени играя словами) Декарт, – мы знаем не только не хуже, но лучше, чем внешний мир».

Это открытие, что наше представление о внешнем мире носит субъективный характер (есть *представление*), по простоте своей напоминаящее историю с колумбовым яйцом и, однако, оказавшееся чреватым самыми разнообразными выводами и сыгравшее роль дрожжей в истории европейской философии, – это открытие не принадлежит Декарту. Оно носится в умственной атмосфере эпохи. С полной определенностью формулирует ту же мысль не только старший современник Декарта, Гоббс, который, исходя из нее, с редким остроумием и последовательностью строит чисто материалистическое мирозерцание, но и предшественник Декарта, Кампанелла. Зато всецело Декарту принадлежит другой сделанный им вывод – о природе человеческого духа.

Когда я размышляю о себе и стараюсь выяснить себе свою природу, то, как сказано уже выше, я могу предположить, что впечатления, получаемые мной от моего собственного тела, – галлюцинация. Не могу усомниться я только в том, что я сомневаюсь, что переживаю данное состояние сознания, что я мыслю. Таким образом, существование у меня тела, рук и ног – не необходимое свойство моей природы; необходимым свойством моей природы, тем свойством, без которого я не могу себе себя представить, является только мышление. «Я прежде всего – дух». Переходя затем к рассмотрению природы духа и анализируя то, что представляют собой состояния сознания, Декарт отмечает, что их можно мыслить

совершенно свободными от всяких материальных признаков, что они не представляют собой ни «тонкого огня», ни «ветра», как вообразили себе душу многие из его современников, что единственным признаком души, единственным ее свойством, вполне характеризующим ее, является «мышление».

Все это сложное и в значительной степени искусственное построение содержит в себе один ценный вывод. Переводя устарелую терминологию Декарта на современный язык, вывод этот можно изложить следующим образом: единственным признаком, отличающим психические явления от физических в широком смысле слова, является то, что первые носят субъективный характер, что они доступны непосредственно только самосознанию. Всякая попытка передать явления психические терминами, заимствованными из физического мира (изображая «душу» как «тонкий огонь», «ветер» и так далее), ошибочна уже потому, что упускает из виду коренное отличие психических явлений от материальных, состоящее в том, что первые носят субъективный характер и могут быть выражены только в терминах самосознания. Этот вывод, как всякая попытка строгой классификации явлений на основании действительных и существенных признаков, вполне научен и со времен Декарта вошел в научную психологию в качестве прочного ее приобретения.

Исходя из того положения, что первичным элементом нашего познания являются наши душевные состояния, вполне естественно было прийти к чисто идеалистическому миросозерцанию, признать, как это сделал впоследствии Беркли, мир вещей продуктом нашего «я» и провозгласить единственно существующими наши душевные состояния. Но когда ученик Декарта, Региус, указал ему на возможность подобного вывода, Декарт резко ответил ему в письме, что «только лошади или мулы» не могут отличить субъективных состояний, не зависящих от внешних причин (галлюцинаций, сновидений), от состояний, вызванных воздействием внешних предметов. Трудно представить себе, чтобы Декарт в самом деле не видел, какая тесная связь существует между подобным миросозерцанием и его основным положением, но его реализм естествоиспытателя не мог примириться с признанием внешнего мира за простой мираж, за создание нашего «я». Тем не менее, исходя из своего «я», как это делает Декарт, перебросить мост к внешнему миру было совершенно невозможно, и ему пришлось для этого прибегнуть в буквальном смысле слова к «*deus ex machina*». Последний оказался, впрочем, необходимым и для доказательства основного, «несомненного» положения Декарта. Если возможно, как он это предполагал во время своих «сомнений», что существует всемогущий дух, обманывающий нас и придающий ошибочным и ложным положениям несомненный в наших глазах вид, то нет никаких гарантий, что то, что представляется нам ясно и отдельно, а следовательно, и положение «мыслю, следовательно существую» – есть истина, а не наваждение злого духа. Пришлось поэтому пуститься в чисто схоластический анализ нравственных свойств Божества и признать, что с совершенством Божиим несовместимо, чтобы оно нас обманывало и внушало нам идеи ясные и отдельные, и однако не соответствующие действительности. Доказав, таким образом, на основании существования Бога и Его совершенства истинность ясных и отдельных представлений, Декарт будет впоследствии – проделывая то, что в логике называется кругом – на основании присутствия в нас отчетливой идеи Бога доказывать Его существование. Точно так же Декарт доказывает существование внешнего мира. Немыслимо, чтобы совершеннейшее существо внушало нам отчетливое убеждение в существовании внешнего мира и чтобы в то же время этого внешнего мира не существовало. Читателю, неискушенному в тонкостях метафизики, нелегко представить себе, сколько труда приходится затрачивать метафизику – даже такому гениальному, как Декарт – на доказательство кажущихся простейшими вещей, впадать при этом в постоянные противоречия с самим собой и в конце концов приходиться к результатам, ценность которых равняется почти нулю...

Рассматривая затем материальные явления, «тела», как называет их Декарт, подвергая наше представление о них такому же анализу, какому он подверг перед тем состояния сознания, Декарт выделяет из нашего представления о внешнем мире ряд признаков, ему не

принадлежащих и вносимых нашим сознанием. Цвет, запах, теплота и так далее – все это, замечает Декарт, не свойства внешних тел, а получаемые нами от них ощущения. Единственным свойством, принадлежащим телам, является их *протяжение*, занимаемое ими пространство (Гоббс совершенно справедливо указал, что и протяжение тел является нашим восприятием). Итак, существуют два ряда явлений: явления психические, основным свойством которых является по терминологии Декарта мышление, и явления материальные, характеризующиеся одним только свойством – *протяжением*. Возникает вопрос, в каких отношениях эти два ряда явлений состоят друг к другу?

Если мы обратимся к истории человеческой мысли, то найдем целый ряд различных решений этого вопроса. Можно решать его так, что, наряду с другими формами проявления материи, она может проявляться еще в форме явлений психических, что психические явления представляют функцию материи; это будет мирозерцание материалистическое, получившее различную формулировку в различных школах. Можно, напротив того, признать внешний мир продуктом нашего «я» и единственной реальностью признать дух – идеализм Беркли и позднейших идеалистических школ. Затем можно как психические, так и материальные явления рассматривать не как реальности, а только как *явления*, признать, что действительная реальность лежит глубже тех и других, что те и другие представляют различные стороны одной и той же реальности – субстанции, лежащей в основе как материальных, так и психических явлений (монизм Спинозы и современный – научный). Как ни разнородны все эти мировоззрения, как ни различна их относительная ценность, все они считаются с несомненным, бросающимся в глаза фактом тесной связи между духом и телом.

Совершенно иначе решало тот же вопрос средневековое мирозерцание. Проводя резкую границу между областью добра и зла, олицетворяя абсолютное Добро в виде Бога, абсолютное Зло – в виде дьявола, игравшего такую видную роль в средневековом мирозерцании, оно распространяло тот же дуализм на взаимные отношения между духом и телом. Тогда как греховная плоть включалась в материальный мир, в царство дьявола, дух, по крайней мере просветленный и очищенный от примесей, внесенных в него единением с телом, принадлежал к царству добра. Дух и тело представляли собой не только две различные, но и противоположные, враждебные субстанции, в идеале, по крайней мере, независимые одна от другой. К этому мирозерцанию примкнул Декарт; очистив представление о духе от грубых примесей, он в то же время углубил пропасть, которую средневековое мирозерцание провело между духом и телом и которую всячески старалась заполнить новая мысль. Так как психические явления можно мыслить отдельно от материальных и обратно, то в основе тех и других должны лежать две различные субстанции. В основе психических явлений лежит одна субстанция – мышление, в основе материальных другая – протяжение. Обе эти субстанции совершенно разделены и независимы одна от другой. Отсюда Декарт вывел, что нет никакого основания думать, будто с гибелью тела должна гибнуть и душа и что душу поэтому следует считать бессмертной. Этим выводом он весьма дорожил и ставил его в особую заслугу себе и своей философии.

Столько же дорожил Декарт данными им доказательствами бытия Божия. Доказательств этих два. Первое основано на том, что идея совершеннейшего существа не могла бы возникнуть у нас, несовершенных существ, без содействия совершеннейшего существа. Второе – на том, что в самой идее Божества содержится неизбежно его существование. Представлять себе Божество, то есть существо совершеннейшее, и в то же время считать его лишенным такого необходимого атрибута совершенства, как существование, так же невозможно, как невозможно представить себе треугольник, сумма углов которого не равнялась бы двум прямым, или вообразить гору без долины. Декарт, как мы сказали уже, придавал особенное значение этим доказательствам и своему учению о разделенности души от тела, вменял в обязанность всем верующим защищать его философию, так как она дает доказательства столь важных истин, и обвинял своих критиков не только в личном недоброжелательстве к нему, но и во вражде к «cause de Dieu». Тем не менее, именно

эти пункты метафизики Декарта вызвали наиболее разногласий. Учение о раздельности души и тела вызвало раскол в школе Декарта уже при его жизни, а после его смерти попытки примирить с фактами столь противоречащее последним учение образуют одну из важнейших глав в истории картезианской ² философии. Точно так же набожные люди, вроде католического священника Гассенди, не сомневаясь в существовании Бога, считали данные Декартом доказательства этого неудачными, а Кант окончательно и навсегда устранил из философии всякие попытки доказывать существование Божие путем рассмотрения идеи божества.

2. Научные теории

Если на метафизике Декарта сильно отразились его богословские взгляды, если результаты, к которым он пришел, в значительной степени определялись внутренней потребностью мыслителя дать рационалистическое обоснование теологическим догматам, если сами доказательства метафизических положений часто носят у Декарта схоластический характер, – то на естественнонаучных теориях Декарта влияние теологии сказалось только внешним образом. В общем он здесь обнаруживает редкую смелость мысли и полную независимость от традиционных взглядов. Излагая с оговорками учение о движении Земли, он в то же время дает научную космогонию, не имеющую ничего общего с библейской. Правда, Декарт излагает ее в виде гипотезы, заявляет, что он говорит не об образовании нашего мира, а мира гипотетического, но заявление это не могло ввести в заблуждение никого, и сам Декарт, как пишет его младший современник, остроумный критик и популяризатор его философии, иезуит Даниэль, был бы искренно огорчен, если бы кто-нибудь поверил его заявлениям. Что же касается схоластики, схоластических приемов мышления, то связь с ними не порвана у Декарта даже в этой области. Мысль не делает скачков, и «сокрушитель схоластики» Декарт сам является в значительной степени схоластиком даже в своих научных теориях. Необузданная его страсть к гипотезам, отсутствие потребности обосновать их опытом, замена последнего диалектическими и логическими построениями, стремление *все* объяснить, как бы недостаточны ни были данные, из которых исходишь, – все эти черты, так неприятно поражающие современного читателя, станут понятны для него, если он вспомнит, что незадолго до Декарта на научных диспутах не только обсуждался, но и получал вполне определенное решение вопрос, например, о том, сколько зубов было у Адама при появлении его на свет. Только рост и популяризация положительной науки приучили к сознанию, что бездоказательные предположения не имеют ничего общего со знанием, что бумажная философия, не проверяющая своих построений математическим вычислением, опытом и наблюдением, не продвигает ни на шаг вперед науку и что лучше смиренно признать свое неведение и дать себе отчет в условиях, при которых может быть сделан дальнейший шаг вперед, чем гадать и фантазировать. Декарт и в этом отношении занимает промежуточное место между старой и новой мыслью. И это тем страннее, что уже старший современник его, Галилей, дал в своих сочинениях классический образец строго научного метода.

Выше мы говорили уже, что Декарт, анализируя наше представление о внешнем мире, тщательно выделил из него субъективные элементы. В схоластической (аристотелевской) физике видную роль играли «теплота», «холод», «влажность», «сухость» и так далее, считавшиеся реальными сущностями, переходящими из одних предметов в другие и носившие наименование *реальных признаков*, – о «теплороде» такое представление сохранялось до сравнительно недавнего еще времени. Кроме того, видную роль в средневековой физике играли таинственные «силы» и «стремления». Магнит с его загадочными и малоизученными тогда свойствами особенно давал повод к подобным толкованиям: он *любил* красный цвет, *не любил* чеснок, *замечал* присутствие железа и так

² от латинизированного имени Декарта Cartesius

далее. Земля, как полагал Кеплер, обладает душой, и доказывал это гениальный астроном тем, что материя холодна, теплота свойственна только одушевленным существам, в недрах же Земли ощущается теплота. Душе Земли приписывалась разносторонняя деятельность: она движет Землю при помощи особых фибр; кроме того, рождает металлы, минералы, ископаемые и так далее. От этих представлений в физике Декарта не осталось и следа. Резкая грань, проведенная им между духом и телом, имела одну полезную сторону: из науки о внешнем мире были вычеркнуты все таинственные силы и стремления; физические явления были сведены не на духов, сидящих в телах, а на механические законы. Кроме того, Декарт вычеркнул из физики также и «реальные признаки». Единственным свойством материи является притяжение, и все физические явления объясняются движением частиц этой протяженной материи. Читателю, с изумлением встречающему это современное учение у Декарта, мы должны напомнить, что еще в XIV веке Николай Австрикурский был осужден церковью за учение, что все явления природы могут быть объяснены движением атомов, что Бэкон в оставленном им любопытном образчике индуктивного метода рассматривал теплоту как род движения и что возникновение подобного учения в XVII веке стояло в тесной связи с блестящими успехами, достигнутыми тогда механикой и с возникшим вследствие этого общим и глубоким интересом к механическим вопросам. Тем не менее, бесспорной заслугой Декарта является последовательное и в высшей степени остроумное проведение этого принципа.

Хотя Декарт и говорит о движении *частиц*, он – не последователь атомистической теории, которую воскресил в то время Гассенди. Соображения логического характера не позволяют ему примириться, с одной стороны, с *неделимостью* атомов; с другой стороны, – и в этом отношении взгляды Декарта носят несравненно более строго выдержанный характер, чем даже господствующие современные научные представления – он не допускает *действия на расстоянии*; отталкивающих и притягательных сил, необходимых в атомистической физике, нет в физике Декарта. Материя представляется сплошной и непрерывной; она может дробиться на частицы, и частицы эти находятся в непрерывном движении, но промежутков при этом между ними не образуется; *мысленно* представляемые нами образующиеся при этом промежутки тотчас же заполняются другими частицами. Кроме того, материя едина: все различия между физическими явлениями объясняются только различной формой частиц единой материи и различным их движением; действие этих частиц друг на друга сводится к *непосредственному удару* и в основе его лежат исключительно механические законы. Такое воззрение на материю, на ее единство и непрерывность, вытекало уже из представления Декарта о свойствах материи: единственным ее свойством является протяжение, то есть материя у него совпадает с пространством – не только нет материи без пространства, но и нет пространства без материи, абсолютной пустоты не существует.

Движение не присуще материи и не является ее необходимым атрибутом. Но одновременно с созданием материи Бог вложил в нее известное количество движения. Из совершенства Божия вытекает неизменяемость Его предначертаний, и только в тех случаях, когда откровение требует от нас признания перемен в мироздании, мы должны допускать их. Это соображение не приложимо к вопросу о количестве вложенного в материю движения, и мы можем поэтому признать это количество неизменным. Количество движения во вселенной в настоящее время то же, какое было вложено в нее Творцом изначально. Таким образом, исходя из соображений схоластического характера, Декарт вносит в свою философию принцип вечности энергии. Прилагая это положение к частным вопросам (например, к задаче об ударе тел), Декарт пришел к изумительно ошибочным выводам, потому что требовал, чтобы сумма *видимого* (массового) движения оставалась постоянной, между тем как из собственной же его теории вытекало, что массовое движение может превращаться в невидимое, молекулярное (теплоту и так далее), как это и имеет место в действительности. Выводы эти тем более изумительны, что в ошибочности своих законов удара тел Декарт легко мог бы убедиться, если бы вздумал проверить их простейшим

опытом. Но мыслитель, указывавший в «Рассуждении о методе» на необходимость опытной проверки теоретических выводов, не считал нужным сделать это по отношению к своим собственным выводам: в сокрушителе схоластики еще сидел схоластик. И в еще большей мере оказались схоластиками его ученики, не соглашавшиеся отказаться от декартовых законов удара тел даже тогда, когда им была доказана опытом их ошибочность. Выведенный ненаучным путем, неумело приложенный к практике принцип вечности энергии в той форме, в какой дал его Декарт, был впоследствии заслуженно отвергнут и предан забвению. Науке XIX века пришлось открывать его вновь, но она исходила из других положений, оставила свое открытие настолько прочно, что оно вошло в науку в качестве незыблемой истины, и люди, сделавшие это, не подозревали даже, что за два века до них ту же мысль – в виде необоснованной гипотезы – высказал Декарт.

Ввиду непрерывности материи всякое перемещение ее частиц может совершаться только под условием перемещения соседних частиц, последнее, в свою очередь, дает толчок перемещению соседних частиц в кругообразном направлении и так далее, так что получается род *вихря*. Вихри эти – различной величины, начиная с космических, создаваемых движением материи – пространства вокруг неподвижных звезд, и кончая вихрями молекулярными, к которым сводятся химические и физические свойства тел. Весь мир распадается, таким образом, на бесконечную систему вихрей. Исходя из этого представления и из первичных законов движения, вытекающих из совершенства Творца, Декарт с редким остроумием и последовательностью строит свою космогонию. Входить в изложение ее, описывать вслед за Декартом, как многоугольные первоначально частицы материи вследствие трения округлялись, как отлетающие от них при этом частицы материи превращались в легкую пыль, заполнявшую промежутки, как образовались частицы третьего элемента с желобками в форме спирали, обстоятельно описанными Декартом, как образовалась земная кора и каким образом произошли различные металлы, мы не будем: перед нами остроумное, последовательно выведенное из немногих основных положений, но совершенно фантастическое построение. Один из величайших геометров, каких знал мир, ни разу не подумал о том, чтобы облечь свои теории в математические доступные проверке формулы. Фантастичность, беспочвенность и бесплодность таких теорий была очевидна трезвомыслящим ученым, вроде Гассенди, уже во времена Декарта; но только фантастическая теория могла *все* объяснить, а именно эта черта придавала философии Декарта, «этого единственного Архимеда, Атласа, Геркулеса нашего века», особый блеск в глазах большой публики, не воспитанной в духе научной критики, и могла сделать среди нее популярной попытку механического объяснения природы; к этому только и сводится положительная историческая роль декартовых естественнонаучных теорий.

Резкое разграничение духа и тела, отрицание всякой зависимости между тем и другим сообщает чисто механический характер и физиологии Декарта. Если уже средневековая физика часто прибегала к «душе» для объяснения свойств земли, магнита и так далее, то в животном организме на долю души выпадали несравненно более разнообразные и многочисленные функции. «Растительная душа», впоследствии замененная «жизненной силой», была причиной роста тканей, переваривала соки, поддерживала биение сердца и артерий и так далее и так далее. Из декартовой физиологии как душа, так и жизненная сила совершенно изгнаны; все физиологические явления объясняются механическими законами движения частиц, и приложение этого совершенно правильного принципа к частным физиологическим явлениям носит у Декарта тот же скороспелый и в общем неудачный характер, как применение его к частным физическим явлениям. Оригинального, впрочем, Декарт внес в физиологию мало, и крупнейшей заслугой его в этой области является популяризация гарвеева учения о кровообращении, встретившего упорную оппозицию среди тогдашних ученых. В тех случаях, когда Декарт пытается исправлять Гарвея, отрицая, например, самостоятельную сократительность мышечных стенок сердца, он впадает в грубые ошибки. Более оригинален он в той области физиологии, которая тесно соприкасается с психологией – в учении о нервных актах. Оставаясь и здесь на чисто

механической точке зрения, он дает совершенно совпадающую с нашими современными представлениями теорию рефлекса и рассматривая действия животных, считает возможным объяснить их чисто механическими законами, не отводя в них совершенно места сознанию. Точно так же можно было бы объяснить большинство человеческих действий, и человека можно было бы признать бездушным автоматом, если бы самосознание не свидетельствовало нам, что у нас к ряду чисто механических явлений, составляющих ощущение и движение, присоединяется еще сознание. Во всяком случае, находит Декарт, более удивителен тот факт, что у человека имеется душа, чем то, что у животных ее нет. Слова, которыми Декарт заканчивает свой «Трактат о человеке», настолько характерны, что мы позволяем себе привести их здесь:

«Я желаю, чтобы вы убедились, что все отправления, свойственные этой живой машине, как то: пищеварение, биение сердца и артерий, питание и рост, дыхание, бодрствование и сон, восприятие внешними чувствами цветов, звуков, вкуса, теплоты и других подобных качеств, запечатление их в общем чувствилище, удержание или запечатление этих идей в памяти, внутренние движения хотений и страстей и, наконец, внешние движения всех членов, столь соответственно следующие как за действием предметов, представляющихся чувствам, так и за страстями и впечатлениями памяти, что они в совершенстве напоминают движения человека, – желаю, говорю я, чтобы вы заметили, что все эти отправления суть естественные последствия расположения органов этой машины, подобно тому, как движения часов или автомата суть результат действия противовеса или колес. А потому в машине этой не должно предполагать никакой растительной или чувствующей души и никакого другого принципа движений и жизни, кроме крови и тонкого вещества, движимых теплотой огня, постоянно горящего в сердце, по натуре несколько не отличающегося от огня, наблюдаемого в неодушевленных телах» (огонь, о котором говорит здесь Декарт, – «огонь без пламени», подобный тому, который развивается в сыром сене, – сравнение поразительно удачное для эпохи, в которую писал Декарт).

Таким образом, все действия человека можно было бы признать чисто автоматическими, и, если мы признаем существование души у других людей (у себя мы признаем ее существование на основании свидетельства самосознания), то только потому, что они говорят и в состоянии передавать свои мысли. Способность речи является для Декарта исключительным свидетельством существования души, и он «готов был бы отвергнуть существование ее у неговорящих младенцев, если бы они с возрастом не превращались в говорящих людей». Крик, которым животные выражают свои ощущения, не доказывает существования у них сознания, так как можно устроить машину, которая будет автоматически издавать крик при сообщении ей известных толчков; крик животных доказывает только существование у них физической стороны процесса ощущения, является результатом молекулярного нервного акта, но ничто не доказывает, чтобы к этому нервному акту присоединялось у них сознание. Кроме отсутствия речи, был еще другой повод, побуждавший Декарта отвергать душу у животных. Если бы мы признали существование души у собак, обезьян и так далее, говорит он, то у нас не было бы никакого основания не признавать ее «у земляных червей, мошек и гусениц». Трудно сказать, в какой мере это последнее соображение повлияло на образование учения об автоматизме животных, но впоследствии Декарт ставил в особую заслугу своей философии вытекающий из нее вывод, что человеку предначертана другая участь, чем мышам, земляным червям, мошкам и так далее. Учение об автоматизме животных, подобно многим другим сторонам философии Декарта, ярко иллюстрирует ее двойственную историческую роль – у этой философии, как у римского бога Януса, два лица: одно обращенное к прошлому, другое к будущему. Декарт углубляет не только пропасть между духом и телом, но и пропасть между человеком и прочим органическим миром (что вполне соответствовало гео- и антропоцентрическому мирозерцанию средних веков и шло совершенно вразрез с мирозерцанием нового времени), и в то же время тем же учением он прокладывает путь к правильному пониманию физиологической основы душевных процессов: книга Ла-Меттри «Человек-машина»,

выставлявшаяся как образец «безнравственного материализма», состоит в непосредственном родстве с «*bêtemachine*» Декарта. И если в некоторых других случаях современники Декарта имели основание обвинять его в неискренности, то в применении к его учению об автоматизме животных такие подозрения были бы совершенно неосновательны: Декарт здесь совершенно искренен, и можно отчетливо проследить логические нити, приведшие его к этой оригинальной теории.

Учение об автоматизме животных стало впоследствии одним из догматов картезианской школы, отличавшим ее от других родственных во многих отношениях философских школ, вызванных научным движением XVII века, и наряду с теорией вихрей и «*cogito ergo sum*» сделалось одним из излюбленных предметов бесед в картезианских салонах. Но оно имело и менее невинные последствия. Увлечение вивисекциями, производившимися в таком числе и совершенно бесцельно картезианцами Пор-Рояля, вытекало из убеждения, что животные – бездушные автоматы, что крик их не свидетельствует о боли. Фонтенелл рассказывает, что однажды в его присутствии Мальбранш, проповедовавший в своих сочинениях единение с Богом, без всякого повода ударил ногою в живот беременную суку. Когда возмущенный Фонтенелл спросил его о причине такого поступка, «сладчайший» автор «Искания истины» ответил: «О, она не чувствует!» у Мальбранша, кроме доводов, приведенных Декартом, был, впрочем, еще один довод в пользу автоматизма животных. Страдания, испытываемые людьми, представляют результат грехопадения. В Библии ничего не говорится о грехопадении животных («Уж не поели ли они запрещенного сена?» – спрашивает противников с убийственным сарказмом Мальбранш) и потому со справедливостью Божией не совместимо, чтобы они испытывали страдания.

Легкость, с какой распространился взгляд Декарта на животных как на бездушных автоматов, кажущийся столь странным современному читателю, объясняется тем, что в дошедшем до Декарта мирозерцании содержались уже готовыми все элементы этого учения. Современному читателю представляется особенно странным признание существования у животных ощущений (существование их в качестве физического процесса Декарт, как мы видели, в своей живой машине допускал и не мог не допускать) и отрицание в то же время у них психической жизни, так как он привык считать ощущение за такой же элемент душевной жизни, как и абстрактное мышление, и душевную жизнь Канта и Спенсера считает лишь несравненно более сложной и богатой формой того же процесса, который совершается не только в мозгу папуаса, но и в головных узлах муравья. В том мирозерцании, которое досталось XVII веку от платоновско-аристотелевской философии, дело обстояло совершенно иначе. Принималось (это принимал даже талантливейший противник Декарта, «материалист» Гассенди) существование двух душ: одной, *материальной*, заведующей функциями питания, движения и *ощущения*; душа эта, «растительная и чувствующая», считалась общей человеку и животным; другая, «разумная» душа считалась свойственной одному только человеку и признавалась нематериальной. Декарт, проводя резкую границу между материей и духом, объявил только, что первая, «материальная» душа – не душа, и что душой может считаться только нематериальная, разумная душа, которая (в чем согласны были с Декартом и противники учения об автоматизме животных) свойственна одному человеку.

Учение Декарта о «разумной душе» принадлежит к наименее удачным отделам его философии. При изложении этого учения Декарту пришлось натолкнуться на ряд трудностей. Так как единственным свойством души он признавал мышление, то отсюда вытекало, что душа должна была мыслить уже в утробе матери, и противники спрашивали Декарта, отчего мы не помним образованных нами в ту пору идей. Декарт соглашался, что мы мыслим уже в утробе матери, и давал более или менее убедительные в глазах его критиков объяснения указанного ими факта. Но возникали и другие трудности. Нужно было закрыть глаза на факты, чтобы не видеть влияния тела на дух, и обратно – духа на тело, и возникал вопрос, каким образом протяженная субстанция может влиять на непротяженную.

Затем являлся вопрос, где помещается разумная душа и может ли вообще где-нибудь помещаться непротяженная субстанция, какой является с точки зрения Декарта душа. На последний вопрос Декарт отвечает с обычной своей определенностью и категоричностью: разумная душа помещается в шишковидной железе, так как эта железа – единственный непарный орган в мозгу. Кроме того, по мнению Декарта, она расположена так, что может легко перемещаться под влиянием тонкого вещества, обращающегося в полостях мозга, и таким образом тело оказывает влияние на дух. В свою очередь, шишковидная железа так подвижно подвешена, что может быть приведена в движение и нематериальной душой, и тогда через посредство тонкого вещества, указанного выше, она «действует как бы по лучам на остальное тело». Несостоятельность этой теории – относящейся, этого не следует забывать, к одной из величайших загадок, над которыми трудилась и продолжает трудиться до сих пор человеческая мысль, была так очевидна еще современникам Декарта, что уже ближайшие его преемники приступили к ее пересмотру и видоизменению.

Глава VI. Глава школы

Ренери и Региус. – Полемика с Возтом и антикартезианские волнения в Голландии. – «Размышления» и «Начало философии». – Поездки во Францию

Значение «Опытов» не исчерпывалось изложенными в них частными открытиями Декарта: в том же направлении действовала целая плеяда естествоиспытателей, современников и предшественников Декарта, – во главе их Галилей и его ученики – и открытия, внесенные ими в сокровищницу науки, несомненно и многочисленнее и важнее открытий Декарта. Но зато в «Опытах» сделана была первая попытка подвести все открытия новой эпохи и тогдашние естественнонаучные знания под один общий принцип, дано было *систематическое* изложение некоторых естественнонаучных отделов в духе новой науки. Появлялась, таким образом, возможность ввести новые открытия в школьное университетское преподавание. Схоластика, давно уже утратившая ценность в глазах людей, способных самостоятельно мыслить, все еще царила в школе, так как перед отдельными, не связанными общей теорией открытиями нового времени она имела преимущество прочно установившейся *системы*. Новые наблюдения чуть ли не ежедневно пробивали бреши в этом стройном мирозерцании; но в школу их не пускали, ученикам с кафедр подносилось нечто связанное и единое. Теперь, с выходом в свет «Опытов», вместо разрозненных единичных фактов, не укладывавшихся в старую систему, появилось новое мирозерцание, которое, может быть, страдало фантастичностью, но которому нельзя было отказать в стройности и последовательности. Правда, страх перед «почитаемыми особами» заставлял Декарта держать в рукописи свое сочинение «О Мире», изданы были только избранные разделы. Но это неудобство находило себе противовес в личных сношениях и связях. За долгие годы пребывания Декарта в Голландии у него образовались тесные связи в ученом мире и светском обществе, и в том и в другом он нашел верных учеников и апостолов своей философии.

Особенно важное значение для дальнейших судеб декартовой философии имело его знакомство с Ренери, начало которого относится еще к 1632 году. Католик по рождению, перешедший потом в протестантство, Ренери в ту пору был воспитателем в частных домах, увлекся учением Декарта и стал преданным его последователем. В 1634 году он был приглашен профессором в Девентер, а в 1635 году, когда в Утрехте основался университет, Ренери пригласили занять в нем кафедру философии. Таким образом, в Утрехтском университете со дня его основания естественные науки преподавались убежденным картезианцем. Ренери был очень осторожен и старался в своих лекциях не задевать сторонников старых учений. Но вскоре при содействии Ренери в состав утрехтских профессоров вошел другой картезианец с темпераментом пылким и страстным, Региус,

сообщивший иной темп движению.

Региус познакомился с философией Декарта из устных бесед с Ренери, а выход в свет «Опытов» окончательно определил дальнейшее направление его научного развития. Между тем его увлекательное красноречие и обширные знания создали ему в Утрехте громадную популярность среди учеников (Региус по профессии был врач, но занимался в то время частными уроками), и, когда приток студентов заставил основать при университете вторую медицинскую кафедру, ученики его через родных оказали давление на городской сенат, чтобы кафедра эта была предоставлена Региусу. Только тогда молодой профессор осмелился завязать переписку с Декартом; в письме к нему он называл себя «его созданием», писал, что только «ему он обязан своей кафедрой», и просил Декарта не отказать ему в личном руководстве. Декарт милостиво принял поклонение и с обычным своим самодовольством тотчас же известил о происшедшем Мерсенна. Вскоре он мог сообщить Мерсенну еще более утешительные сведения об успехах своей философии. Когда умер Ренери, профессору элоквенции.³ Эмилиусу вменено было городским сенатом в обязанность включить в надгробную речь похвалы в честь Декарта, и речь Эмилиуса действительно представляла собой скорей похвальное слово в честь французского мыслителя, чем речь над гробом скончавшегося товарища. Ренери ставилось в заслугу, что он насадил в Утрехте учение Декарта, «этого единственного Архимеда нашего века, единственного Атласа вселенной, наперсника Природы, могущественного Геркулеса, Улисса и Дедала». Профессор элоквенции настолько увлекся возложенной на него обязанностью, что написал даже стихи в честь Декарта, которые и были присланы последнему. Все предвещало мирное торжество новых идей, но этого не могли допустить богословы. Началось то, что гиперболически можно назвать «преследованием» декартовых идей в Голландии.

Во главе богословского факультета в Утрехте стоял тогда Гисберт Воэт. Наши сведения о нем носят односторонний характер, так как мы черпаем их из картезианских источников. Но даже из них видно, что это была личность во многих отношениях симпатичная, пользовавшаяся громадной популярностью, которую Воэт сохранил до конца своей долгой жизни. Он бесстрашно громил в своих проповедях сильных мира, был идолом простого народа, считался «украшением голландской церкви». В то же время это был фанатичный кальвинист, натура страстная и необузданная, считавшая все средства дозволенными, когда дело шло об интересах религии в том узком смысле, в каком их тогда понимали. Сначала Воэт не давал себе, видимо, отчета в тех последствиях, какие будет иметь распространение новой философии. Назначение Региуса профессором состоялось с его одобрения, а по избрании Воэтом ректором Региус с его согласия открыл ряд диспутов, долженствовавших доставить торжество новой философии, и тезисы, выставленные Региусом, были просмотрены и одобрены Воэтом. Но когда диспуты из добродушных собеседований, какими они были раньше, превратились в ряд скандалов, оканчивавшихся бурными аплодисментами одной стороны, шиканьями другой, Воэт почувствовал, что под видом невинных естественнонаучных положений в стены университета проникает новый, разлагающий старые основы дух. Декарт давно внушал подозрения Воэту в качестве воспитанника иезуитов, но в своих сочинениях он был осторожен и неуязвим. Менее осторожен он был в частных беседах, и некоторые его заявления могли раскрыть Воэту глаза на тенденции новой философии.

В Утрехте жила тогда m-lle Шюрманс, ученейшая женщина своего времени, замечательная лингвистка, знавшая все европейские живые языки, не исключая турецкого, и, кроме того, свободно говорившая на латинском, греческом, еврейском, сирийском и арабском. В то же время это была талантливая художница, прекрасно рисовавшая и ваявшая, и знаток математики, философии и богословской литературы. На последней окончательно сосредоточились ее симпатии, и она отказалась от светских развлечений, оправдывая свое

³ элоквенция – ораторское искусство (*уст.*)

решение словами св. Игнатия: «моя любовь распята на кресте». Декарт был знаком с m-lle Шюрманс, и в одно из своих посещений Утрехта, застав ее за чтением Св. Писания в еврейском подлиннике, выразил свое удивление по этому поводу. M-lle Шюрманс ответила, что не знает занятия, которое было бы полезнее. Тогда Декарт рассказал ей, что когда-то он тоже изучал еврейский язык, чтобы в подлиннике читать Библию, но, прочитав то, что Моисей говорит о сотворении мира, он не нашел там ничего, что было бы сказано ясно и раздельно. M-lle Шюрманс впоследствии благодарила Бога за то, что не поддавалась влиянию столь безбожного и легкомысленного человека, а Воэт на основании подобных рассказов имел право считать Декарта уже не иезуитом только, а атеистом.

Богословский факультет под председательством Воэта постановил принять решительные меры. Студентам богословия запрещено было посещать лекции Региуса, и Воэт добился от городского сената, чтобы Региусу запрещено было читать приватные курсы физики, читавшиеся им кроме обычного курса медицины. Но несравненно важнее было поразить скрывавшегося за спиной Региуса Декарта. Одно время Воэт рассчитывал возбудить против «атеиста и иезуита» католическое духовенство, не дружившее вообще с иезуитами, и обратился за содействием к... Мерсенну. Мерсенн, близкий приятель не только Декарта, но и Гоббса, принимавший участие в издании сочинений английского материалиста, долго не отвечал Воэту, но наконец, побуждаемый его письмами, ответил, что, по его мнению, философия Декарта может только содействовать укреплению веры. Воэт решил выступить самостоятельно. Против Декарта посыпался ряд памфлетов, отчасти анонимных, в которых он фигурировал уже не в качестве «Архимеда, Атласа и Геркулеса», а в качестве «Каина, бродяги, безбожника, развратника, иезуита»... Декарт не оставался в долгу и в своих ответах называл главнейшего представителя государственной церкви в Утрехтской области «сыном маркитанта, воспитавшимся в обществе публичных женщин», но перевес озлобления и страстности был несомненно на стороне Воэта. На страстные филиппики Воэта Декарт большею частью отвечал спокойно и иронически. Городские власти Утрехта всячески старались умерить пыл противников, заставляли вычеркивать из памфлетов наиболее обидные личные нападки, но разъяренный Воэт, опираясь на свою популярность среди простого народа, довел дело до того, что Декарт при звоне колоколов был вызван на суд по обвинению в оскорбительных нападках против служителя церкви, и Воэт обещал уже палачу награду, если тот положит побольше дров в костер, на котором должны были подвергнуться сожжению сочинения Декарта, так, чтобы пламя было видно на далеком расстоянии. Декарт обратился к заступничеству французского посланника, который указал утрехтским властям, что в качестве французского подданного Декарт не подлежит их юрисдикции. На распространение идей Декарта это «преследование» не имело никакого влияния. В стране со свободными учреждениями, какой была Голландия, нельзя было подобными мерами задержать распространение учения, пользовавшегося сочувствием общества. Непосредственный виновник всей этой передраги, Региус, не был даже лишен кафедры. Точно так же никаких последствий не имели подобные же волнения, наступившие через несколько лет в Лейдене. В Гронингене университетский суд даже признал виновным противника Декарта.

В то время, когда философия Декарта в Голландии переживала еще свой медовый месяц, когда он был еще «Атласом и Архимедом», а Региус с радостью извещал его о своих победах на диспутах, Декарт получил известие, что в Парижской иезуитской коллегии один из профессоров, Бурден, высказался на диспуте против его взглядов. Это известие привело Декарта в ужас. Близкое знакомство с орденом только усилило его страх перед могуществом и влиянием иезуитов. Он верил в сплоченность и дисциплину ордена и теперь был убежден, что Бурден выступил против него с одобрения и по решению начальства. Ему представилось, что весь могущественный орден ополчается против него, что теперь время от времени орден, ведя систематическую борьбу, будет выставлять против него оппонентов. Такому положению дел Декарт готов был предпочесть все, что угодно, и он решился на отчаянное средство – вызвать на бой сразу весь орден. В письме к ректору Парижской коллегии он

жаловался на поступок Бурдена, выступившего против него публично вместо того, чтобы по-христиански наставить его частным образом на путь истины, высказывал свое убеждение, что за Бурденем стоит весь орден, и просил поэтому орден раз и навсегда сформулировать свои возражения, чтобы он мог себе выяснить, какие положения его философии признаются ошибочными и ложными. Ректор не счел нужным собственноручно ответить какому-то писателю и поручил Бурдену написать, что в его полемике с Декартом орден никакого участия не принимает. Последний прибавлял, что пришлет Декарту свое подробное возражение. Заявлениям Бурдена Декарт не поверил и провел несколько лет то в восторгах по поводу того, что его похвалил какой-нибудь иезуит, то в страхе, когда ему сообщали, что какой-нибудь иезуит высказался против него. В проектировавшейся Декартом борьбе против иезуитов он предполагал сражаться их же оружием – схоластической диалектикой и счел поэтому нужным освежить в своей памяти схоластические курсы философии. Оказалось, что он так основательно забыл то, чему учился в коллегии, что не помнил даже названий учебников и принужден был просить Мерсенна снабдить его указаниями. Декарт предполагал даже, выбрав лучший из схоластических курсов философии, выпустить его в свет со своими критическими замечаниями. План этот, к сожалению, не был осуществлен: состоявшееся впоследствии примирение с иезуитами отклонило Декарта от всяких планов борьбы.

Творчество Декарта в тот период его жизни, в который мы теперь вступили, характеризуется особыми чертами. Перед нами – глава школы, и Декарта особенно беспокоит вопрос об официальном признании его философии. В эпоху издания «Рассуждения о методе» он ясно понимал, что на стороне новой философии могут быть только молодые складывающиеся общественные силы, и обращался к ним. Теперь он круто поворачивает вправо, выдвигает на первый план те стороны своей философии, которые стоят в близком родстве со старым мирозерцанием, и начинает заискивать в тех сферах, которые не могли с сочувствием относиться к новым течениям мысли и впоследствии действительно повели против его философии решительную борьбу. Декарта беспокоят жалобы католических священников, что его теория света лишает их тех «красивых сравнений», которыми они раньше пользовались в своих проповедях. И с производящей на современного читателя комическое впечатление серьезностью Декарт объясняет им, что происходит это оттого, что они недостаточно усвоили себе его философию, и что один протестантский проповедник в Лейдене, хорошо усвоивший его философию, черпает из нее сравнения не менее красивые. Он полагает, что иезуитам было бы выгодно ввести в преподавание в своих школах его философию, и старается убедить их, что в ней нет ничего противоречащего религии. Плодом такого настроения являются «Размышления об основах философии (*Meditationes de prima philosophia*), в которых ясно доказывается существование Бога и реальное различие между человеческой душой и телом», вышедшие в свет в 1642 году.

Настроению, породившему книгу, соответствуют и условия выхода ее в свет. Она напечатана уже не на французском, а на латинском языке, предназначена не для публики, а для «doctes» – ученых. Она посвящена «деканам и докторам священного парижского богословского факультета (Сорбонны)». Декарт желает, чтобы книга была одобрена и рекомендована Сорбонной, и полагает, что в таком случае «ввиду уважения, которое весь мир питает к Сорбонне, и ввиду ее авторитета не только в области веры, но и в области философии – так как нигде нельзя найти столько основательности и учености, разумности и искренности суждений, – все заблуждения и ошибочные мнения по вопросу о существовании Бога и отличии души от тела будут быстро искоренены из умов» (посвящение). Для того чтобы получить такую рекомендацию, Декарт поручил Мерсенну до печатания познакомить докторов Сорбонны с рукописью и просить у них возражений. В действительности, однако, он ждет не возражений, а одобрения. Книгой своей он очень доволен, считает ее совершеннейшим произведением, благодарит Бога за то, что Он «сподобил его доказать метафизические истины яснее, чем можно доказать геометрические», и заявляет Мерсенну, что все, написанное в *Размышлениях*, «или очевидно естественному разуму, или доказано в

высшей степени точно. Это будет ясно для всякого, кто захочет в них вдуматься. Но я не могу прибавить людям ума, точно так же не могу показать того, что находится в комнате, людям, которые не хотят себе задать труда войти в нее». В то же время Декарт, как и многие другие последующие философы, вступившие на тот же скользкий путь, на котором очутился он теперь, начинает отождествлять интересы своего мелкого самолюбия и честолюбия с интересами религии, полагает, что «кто за Бога, должен быть и за него», и тонко инсинуирует по поводу не нравящихся ему возражений, что люди, находящие его доводы схоластичными и недостаточно обоснованными, возражают против него потому, что они – «противники Бога».

Доктора Сорбонны отнеслись к заискиваниям Декарта с пренебрежением людей, чувствующих свою силу. Ответил ему один только молодой лицензиат богословия, 28-летний Арно, одобрительно отозвавшийся о «Размышлениях», за что обрадованный Декарт тотчас же возвел Арно в звание «проницательнейшего критика» и поручил Мерсенну внести указанные Арно поправки в текст книги, отметив их кавычками, чтобы показать, как почтительно он относится к поучениям богословов. Замечания Арно интересны для нас только в одном отношении. Он указал, что физические принципы Декарта противоречат догмату о присутствии тела Христова в причастии. Декарт придумал объяснение, отличающееся чисто схоластическим остроумием и почти удовлетворившее Арно. Самому же Декарту оно так понравилось, что, когда Мерсенн из осторожности нашел нужным выпустить его в парижском издании, Декарт восстановил пропуск в голландском издании, вышедшем спустя год под его личным наблюдением. Последующая борьба иезуитов против картезианской философии велась, главным образом, под предлогом, что философия Декарта дает еретическое объяснение догмата пресуществления, для истории же философии переписка Арно с Декартом интересна в том отношении, что ею открывается ряд попыток объяснить католический догмат на основании нового научного мирозерцания. Чуть ли не всякий из следовавших за Декартом философов считал своим долгом внести свой вклад в этот вопрос, а Лейбниц, как известно, вменял своей философии в особенную заслугу, что она угодила иезуитам.

На тех людей, которые недавно еще считали Декарта своим единомышленником, которые вместе с ним работали над освобождением мысли от пут схоластики и теологии, выход в свет «Размышлений» с их приподнятым, елейным тоном,⁴ «Размышлений», язык и метод которых носил явственные следы возобновленных Декартом занятий схоластикой, мог произвести только удручающее впечатление. Из них, по просьбе Мерсенна, прислали свои замечания Гоббс и Гассенди. У Гоббса Мерсенн вынудил замечания почти насильно, и они носят характер коротких заметок, затрагивающих, однако, все важнейшие пункты философии Декарта. Гассенди прислал длинный этюд, содержащий в высшей степени вежливую и остроумную критику взглядов Декарта, не потерявшую значения до сих пор. Но и к знаменитому английскому мыслителю, и к остроумному и благородному отцу французского материализма Декарт отнесся так же, как отнесся некогда к Ферма. Как великому математику на некоторые его замечания он не отвечал сам, а поручал отвечать своему слуге Жилью, чтобы показать, что Ферма не понимает таких пустяков, какие понимает Жилью, так теперь он отвечает Гоббсу небрежно и просит Мерсенна не присылать ему больше замечаний этого автора, в уме которого он усматривает «опасные черты», а ответ его Гассенди груб и не свободен от инсинуаций.

В тех же интересах официального признания своей философии и введения ее в школу Декарт в 1644 году издал «Начала философии», имеющие характер учебника, в котором в сжатом виде излагаются его метафизика и физика. Многочисленные гипотезы, которыми изобилует физика Декарта, внесены и в этот краткий учебник, и «Начала» представляют

⁴ Иезуит Даниэль рассказывает, что один из его приятелей, найдя у него на столе «Размышления» и прочитав «посвящение», попросил дать ему их на страстную неделю в качестве книги для душеспасительного чтения.

одно из неудачнейших произведений Декарта. Французский историк астрономии Делямбр говорит: «Из уважения к памяти гениального человека мы хотели бы обойти глубоким молчанием это его произведение; оно представляет собой мечтание воображения блестящего, но, если угодно, расстроенного».

Обе книги расходились плохо. Если через год после выхода в свет парижского издания «Размышлений» вышло в свет второе издание их в Голландии, то произошло это вследствие того, что голландские типографы собирались самостоятельно перепечатать у себя книгу, и Декарт предпочел принять лично участие в издании, чтобы внести в книгу поправки. Популярность Декарта создавалась не читателями его произведений: небольшой сравнительно кружок поклонников популяризовал и пропагандировал его идеи. Круг лиц, черпавших знакомство с философией Декарта непосредственно из его сочинений, был настолько мал, что типографы постоянно надоедали ему жалобами на убытки, понесенные ими вследствие издания его книг. Декарт собирался совсем бросить писать, «так как, – писал он своему другу Шаню, – публика меня знать не хочет». Несмотря на плохой сбыт книг, в 1647 году был издан французский перевод как «Размышлений», так и «Начал». Оба перевода были просмотрены и исправлены Декартом, так что французские издания его сочинений вообще предпочитают латинским даже в тех случаях, когда они были написаны автором по-латыни.

В 1648 году Декарт был вызван в Париж. Это было третье путешествие его во Францию за время пребывания в Голландии. Первые два, в 1644 и 1647 годах были связаны с хлопотами по наследству. В родной семье Декарт не пользовался привязанностью и отчужденность его от родных была настолько велика, что его не сочли даже нужным известить о смерти отца, последовавшей в 1640 году. О брате-философе вспомнили только тогда, когда пришло письмо от него к старику-отцу, в котором встревоженный долгим отсутствием писем сын справлялся о его здоровье. Ближайшие родственники, видимо, не прочь были даже воспользоваться отсутствием Декарта для увеличения своей доли в наследстве, и он поспешил приехать во Францию для ограждения своих имущественных прав. В первый приезд его в Париж состоялось торжественное примирение с иезуитами, находившими, что философия его представляет желательный противовес популярной тогда более радикальной философии Гассенди. Во второй приезд влиятельные друзья выхлопотали Декарту у кардинала Мазарини пенсию в три тысячи ливров. Пенсия была пожалована при милостивом королевском рескрипте, в котором признавались великие заслуги Декарта и польза, которую его философия и многолетние исследования принесли человечеству, пенсией же имелось в виду доставить Декарту возможность «продолжать его прекрасные опыты, требующие значительных расходов». В эту свою поездку Декарт познакомился с молодым Паскалем, знаменитым уже в то время геометром и физиком. Злобой дня в ученом мире были тогда опыты Торричелли с барометром, и в беседе Паскаля с Декартом вопрос этот был затронут. Спустя два года Паскаль произвел свой знаменитый опыт на Пюи-де-Дом, и ревнивый Декарт, не допуская, чтобы какое-либо крупное открытие могло совершиться без его участия, впоследствии говорил, что идею этого опыта внушил Паскалю он. Паскаль заявлял, что идея опыта была внушена ему некоторыми замечаниями Торричелли, и, в сущности, она была так проста, опыт до такой степени напрашивался сам собой, что вряд ли Паскаль нуждался в указаниях Декарта.

В мае 1648 года Декарт получил второй королевский рескрипт с назначением ему новой пенсии и приглашением явиться в Париж, где его ожидало назначение на какую-то важную должность. Декарт решил распрощаться с Голландией и выехал в Париж. Но здесь его ожидало разочарование. В Париже начались волнения, и при дворе о нем никто не думал. Ему пришлось вдобавок уплатить порядочную сумму за рескрипт, так что, пишет он, «как оказалось, я приехал в Париж для того, чтобы купить самый дорогой и самый бесполезный пергамент, какой когда-либо бывал у меня в руках». Он примирился бы со своей поездкой, если бы мог быть парижанам чем-нибудь полезен, но «парижане интересуются мною только из любопытства, как редким зверем вроде слона или пантеры. Таким образом, в лучшем

случае я могу смотреть на них, как на друзей, пригласивших меня отобедать, но, придя к которым, я застал кухню в беспорядке и горшки опрокинутыми». 27 августа на улицах появились баррикады, и Декарт поспешил вернуться в Голландию. Он оставил лучшего своего друга, Мерсенна, тяжело больным. Спустя несколько дней по отъезде Декарта Мерсенн умер и, верный до конца жизни своей любви к науке, завещал вскрыть свое тело, «для того, чтобы врачи, узнавши его болезнь, получили возможность в будущем помочь тем, кто будет страдать ею».

Глава VII. Последние годы

Отделение Региуса. – Принцесса Елизавета. – Переписка по этическим вопросам. – Королева Христина. – Переселение в Швецию. – Смерть. – Характеристика Декарта. – Дальнейшие судьбы картезианской философии

В последней главе мы забежали несколько вперед и принуждены теперь возвратиться назад к занятиям Декарта в годы, непосредственно следовавшие за изданием «Начал». В 1645 году он возвращается к занятиям анатомией и медициной, которым обещал в «Рассуждении о методе» посвятить всю свою дальнейшую жизнь и от которых его отвлекли заботы о снискании симпатий теологов. Он поселяется в Эгмонде и упорно работает. Здесь его навестил один французский дворянин, высказавший желание познакомиться с библиотекой философа. Декарт повел гостя в прилежавшую к его дому галерею, отдернул занавес и, указывая на труп теленка, сказал: «Вот мои книги!» Результатом этих занятий явилась новая обработка трактата «О животном» и наброска «О человеке и образовании зародыша», написанных за десять лет перед тем.

К этому же периоду относится первый раскол в недрах школы Декарта. Новый путь, на который вступил Декарт с изданием «Размышлений» и «Начал», вызывал искреннее недоумение у поклонников первого периода его деятельности. Реакционный характер его метафизики производил удручающее впечатление на более передовых его учеников, и первым отделился Региус. В 1645 году он прислал Декарту рукопись своего сочинения «Основания физики». Оставаясь в общем на почве декартовой физики, он отклонялся от нее в некоторых частностях и решительно отделялся от Декарта по вопросу об отношениях между душой и телом, признавая душевные состояния за один из видов состояний тела. В ответ от учителя пришло резкое письмо, в котором Региусу запрещалось издавать книгу и было объявлено, что если он, тем не менее, решится ее издать, то Декарт публично заявит, что не имеет с ним ничего общего. Региус ответил письмом, исполненным достоинства. Он не находил основания стыдиться своих взглядов и отречься от них. Книгу свою он считал себя обязанным издать, так как находил ее бесполезной для читателей, – во избежание же недоразумений обещал в предисловии указать, что некоторые из его взглядов не разделяются Декартом. Но тут же преданный ученик считал своим долгом сообщить учителю о тяжелом впечатлении, произведенном на наиболее просвещенных людей эпохи его поворотом в сторону теологии. «Многие из них, – пишет Региус, – убеждены, что в глубине души Вы придерживаетесь взглядов прямо противоположных тем, какие высказываете в последних своих сочинениях. Не могу скрыть от Вас, что Ваша философия много потеряла в глазах этих лиц вследствие выхода в свет вашей метафизики». В заключение Региус благодарил Декарта за то, что тот согласился прочесть его книгу, «вернее, Вашу книгу, так как она – Ваше произведение». Любопытно, что самолюбивый и в высшей степени обидчивый Декарт оставил такое серьезное обвинение, как обвинение в неискренности, без всякого протеста. Не прекратилась даже переписка между ним и Региусом, принявшая только более холодный характер, а когда Региус опубликовал свои психологические взгляды, Декарт публично отрекся от него, хотя Региус и отметил в предисловии свое разногласие с Декартом.

Кроме переписки с Региусом, к тем же годам относится интересная переписка Декарта

с принцессой Елизаветой, дочерью курфюрста пфальцского Фридриха V. Принцесса была еще молоденькой девушкой, когда – вскоре после выхода в свет «Опытов», произведших на нее сильное впечатление, – пожелала познакомиться с Декартом. Декарт переселился тогда в Эйндегест, чтобы быть поближе к своей ученице, и между учителем и ученицей установилась дружба, длившаяся до смерти Декарта. В последние годы его жизни их отношения ограничивались перепиской, так как принцесса была изгнана из Голландии матерью ввиду распространившихся слухов, будто она причастна к смерти одного французского дворянина, убитого на улице ее братом. Принцесса удалилась тогда в Германию к своим родным и после долгих скитаний назначена была настоятельницей Герворденского аббатства, утратившего с переходом в руки лютеран характер монастыря и представлявшего собой бенефицию, обеспечивавшую принцессе значительный доход. Здесь она устроила нечто вроде академии, в которой находили радушный прием люди самых разнообразных религиозных взглядов, не исключая социниан и деистов. В последние годы своей жизни принцесса подпала под влияние известной уже нам m-lle Шюрманс, раскаивалась в том, что «занятия философией удалили ее от искания истинного блага», и говорила, что «теперь любой из сынов Божиих дороже ей всех величайших философов мира».

В переписке принцессы с Декартом нет и следа еще этого пиетистского настроения, хотя и в ней принцесса является убежденной кальвинисткой. Сохранилось письмо Декарта, в котором он утешает принцессу, заболевшую, когда до нее дошло известие об обращении одного из ее братьев в католичество. Письмо любопытно в том отношении, что доводы, приводимые Декартом, носят чисто светский характер. Нигде этот «верный сын католической церкви», каким стараются выставить Декарта Балье и профессор Любимов, считающие его даже виновником обращения в католичество королевы Христины, не старается и намекнуть на превосходство католической религии. Все религии для него безразличны, принадлежность к той или другой оправдывается рождением в данной вере и утилитарными соображениями. Переписка Декарта с принцессой не носит, впрочем, исключительно личного характера. Принцесса получила разностороннее образование, и в письмах Декарта к ней трактуются такие математические вопросы, для понимания которых необходимо было основательное знакомство с этой областью. Тем не менее, как замечает Мэгеффи, все, что мы знаем о принцессе, не оправдывает восторженных заявлений Декарта, будто «тогда как ни один математик не понимает его метафизики, и ни один метафизик – его математики, она одна в совершенстве овладела той и другой и, таким образом, лучше понимает его систему, чем кто бы то ни было» (посвящение к «Началам философии»). Насмешники заявляли по этому поводу, что во всем мире есть только два человека, понимающих философию Декарта: один мужчина – врач Региус, и одна девушка – принцесса Елизавета... Приведенные слова Декарта характеризуют не столько принцессу, сколько самого Декарта. Надменный и высокомерный с равными, третировавший как мальчишек крупнейших ученых своего времени, он, приближаясь к высоким особам, превращается в льстивого и угодливого царедворца. В письме к Шаню, предназначавшемся для сведения королевы Христины, Декарт изрекает такой афоризм: «Особы высокого происхождения не нуждаются в достижении зрелого возраста, чтобы превзойти ученостью и добродетелью прочих людей», а еще курьезнее стиль его письма к принцессе Софии, переславшей ему письмо принцессы Елизаветы: «Когда я думаю о том, – пишет Декарт, – что письма, получаемые и посылаемые мною, проходят через такие благородные руки, то мне кажется, что принцесса Елизавета подобна Божеству, привыкшему пользоваться посредничеством ангелов для того, чтобы принимать поклонение от стоящих столь низко смертных и давать им свои приказания... Приложенное письмо Вашего Высочества убеждает меня, что Вы не только по наружности своей напоминаете ангелов, так что художники могли бы найти в Вашем Высочестве прекрасный образец для своих картин, но что и душевные красоты Вашего Высочества принадлежат к числу тех, которым привыкли поклоняться философы» и так далее.

Из писем принцессы Елизаветы к Декарту дошли до нас очень немногие; после смерти учителя она вытребовала обратно свои письма к нему, и большинство их утеряно, по-видимому, безвозвратно. Нравственные запросы были у принцессы живее и глубже, чем у Декарта, и по ее настоянию он написал свои этюды «О высшем благе» и «О страстях души». Оба этюда не отличаются крупными достоинствами. Второй любопытен только как зародыш знаменитого учения Спинозы об аффектах, первый же интересен в том отношении, что, трактуя нравственные вопросы, Декарт не считает нужным переходить на религиозную почву; этюд напоминает этические произведения языческих писателей, Сенеки и Цицерона. Постановка этических вопросов у Декарта не отличается ни оригинальностью, ни глубиной, и Фулье, эксплуатирующий всякую небрежно брошенную Декартом фразу для возвеличения его заслуг, открывающий у него даже предчувствие дарвиновской теории, принужден – в области этики – приписать ему взгляды Спинозы...

Письма Декарта к принцессе Елизавете о нравственных вопросах скоро нашли себе еще одну высокую читательницу. Приятель его, Шаню, посланник при шведском дворе, успел заинтересовать своими рассказами о Декарте королеву Христину. Повод, по которому началось знакомство королевы с философом, носит несколько комический характер и вводит нас в сферу салонных «философских» разговоров. Французский посланник однажды спорил с королевой по мудреному вопросу: «Что вреднее – излишек любви или ненависти?», причем любовь понималась в широком смысле, так как королева, «не испытав любви, в смысле страсти, не считала себя вправе судить о ней». Собеседники разошлись во взглядах, Шаню попросил Декарта высказать его мнение по этому философскому вопросу, и Декарт тотчас же написал целый «трактат». Письмо Декарта понравилось Христине, и через посредство Шаню завязалась переписка. Между прочим, Декарт послал Христине копии со своих писем к принцессе Елизавете по нравственным вопросам, желая сблизить своих почитательниц и рассчитывая на помощь со стороны могущественной шведской королевы несчастному пфальцскому дому. В этих видах Декарт посоветовал принцессе обратиться с письмом к королеве, но Христина ей не ответила: она терпеть не могла женщин. Молодая девушка, сидевшая на шведском троне, отличалась многими оригинальностями в характере. Как описывает ее Шаню в письме к министру Бриенну, она обладала голосом почти мужского тембра, мало походила на женщину и не старалась походить на нее. Она была очень деятельна, спала не более пяти часов в сутки, способна была на охоте десять часов не сходить с седла и была превосходным стрелком. О внешности своей она не заботилась, – ни при ветре, ни при дожде, ни в городе, ни в деревне не носила шляпки. Только на лошади для защиты от непогоды она надевала шляпу с перьями, и в такой шляпе, одетая в мужскую венгерку, ничем не напоминала женщину. Женского общества она не выносила, но охотно проводила время среди мужчин и любила серьезный разговор. Обладая прекрасной памятью, Христина говорила на шести языках, в том числе на латинском, и ежедневно прочитывала в подлиннике по несколько страниц из Тацита. Незадолго до своего знакомства с Декартом она начала изучать еще и греческий. Несмотря на свою молодость, она в отношениях к людям была замкнута и недоверчива, но в действиях энергична и стремительна.

Такую же стремительность Христина проявила в отношении к Декарту. Философ несколько месяцев ждал обещанного ему собственноручного письма от Христины, как вдруг вслед за полученным наконец письмом посыпались одно за другим три письма от Шаню с настойчивым приглашением от имени королевы приехать в Швецию, так как королева пожелала поучаться философии из его собственных уст. Не давая Декарту времени опомниться, Шаню в последнем письме извещал его, что Христина, не дожидаясь его согласия, отправила уже в Голландию адмирала с кораблем, на котором он должен был приехать в Швецию. Трудно сказать, что побуждало Декарта, человека богатого и независимого, дорожившего своим здоровьем и уже немолодого, ехать в «страну медведей между скал и льдов», как писал он Шаню, – но он принял приглашение и в октябре 1649 года прибыл в Стокгольм.

Христина приняла его с почетом. При дворе шли празднества по случаю заключения

Мюнстерского мира, и Христина пригласила Декарта принять участие в балете и написать стихи для бала. От участия в балете философ отказался, но стихи написал. По-видимому, он силился вложить в них философское содержание, но даже восторженные его поклонники, издавшие произведения Декарта после его смерти, сочли за лучшее не включать этих стихотворений в свое издание. По окончании празднеств Христина приступила к занятиям. В то же время Декарту поручено было составить проект устава Академии наук, которую королева задумала основать в Стокгольме. Шведская знать, ревниво оберегавшая свое влиятельное политическое положение, косо посматривала на многочисленных иностранных педантов, наполнявших двор молодой королевы, и философ начинал чувствовать себя неловко. Во избежание каких-либо толков он включил в написанный им проект устава пункт, исключавший иностранцев из числа членов академии. По проекту Декарта академия должна была представлять нечто вроде ученого общества, обсуждающего различные научные вопросы под председательством королевы; королева же должна была высказывать окончательное решение по спорным вопросам – «this was indeed a royal task!» («чисто королевская задача!»), – замечает по этому поводу Мэгеффи с резкостью, на которую способны только «сыны грубого Альбиона». Недружелюбно относилась к Декарту не только шведская знать, но и иностранцы, наводнявшие двор Христины и интриговавшие друг против друга, так как каждый из них старался удержать за собой первое место в расположении королевы. Не любить Декарта была у них особая причина: большинство из них были филологи, а Декарт насмешливо отзывался о филологии вообще и о филологических занятиях Христины в частности.

Уже вскоре после приезда Декарта Христина стала говорить ему об ожидающих его милостях. Предполагалось возвести его в звание дворянина Шведского королевства; кроме того, королева обещала подарить ему обширное поместье в Померании. Но в то же время, со свойственной сильным мира невнимательностью к действительным интересам соприкасающихся с ними простых смертных, Христина заставляла немолодого уже и болезненного философа ломать весь его привычный образ жизни. Она нашла, что к занятиям философией нужно приступать со свежей головой, и наиболее подходящим временем для этого оказалось пять часов утра. Декарт, которому даже его воспитатели-иезуиты разрешали, ввиду слабого его здоровья, оставаться в постели до позднего часу, принужден был в суровую северную зиму задолго до рассвета отправляться во дворец, причем ему приходилось проезжать через длинный, открытый со всех сторон ветру мост. Вдобавок заболел Шаню, а королеве как раз в эту пору пришла в голову мысль об учреждении академии, и измученный уходом за другом Декарт, кроме утренних поездок к королеве, должен был ездить к ней еще и днем для совещаний по этому поводу. Зима стояла необычайно суровая. В одну из своих поездок Декарт простудился и по возвращении из дворца слег: у него обнаружилось воспаление легких.

Старший врач королевы, француз и приятель Декарта, был в отпуске, и к больному был прислан его помощник, голландец, во время антикартезианских волнений в Лейдене стоявший на стороне противников Декарта. Один вид этого невежды, не признававшего никаких новшеств, считавшего ересью учение о кровообращении и знать не желавшего другой медицины, кроме галеновой, привел больного в бешенство. Он попросил лейб-медика оказать ему одну-единственную милость – оставить его умирать одного. От предложенного ему кровопускания Декарт, имевший на этот счет взгляды, далеко опередившие его век, наотрез отказался и впоследствии в бреду кричал: «Господа, пощадите французскую кровь!» Но когда бред стал стихать, Декарт уступил настояниям Шаню, и были сделаны подряд два кровопускания. От них Декарт так ослаб, что, когда на другой день его посадили в кресло, с ним сделался обморок. 11 февраля 1650 года, на девятый день болезни, Декарта не стало.

Христина пролила слезы, когда ей донесли о смерти Декарта, и выразила желание похоронить его в королевской усыпальнице, среди могил своих предков. Но Шаню указал ей, что место Декарта – на католическом кладбище, среди его единоверцев. Христина уступила и обещала построить на могиле философа пышный мавзолей. Но Шаню, по-видимому,

хорошо изучивший Христину, предпочел *пока* поставить на могиле друга скромный памятник на собственный счет; этот памятник простоял на могиле Декарта до дня перенесения его останков во Францию.

Через 17 лет после смерти Декарта, в 1667 году, поклонники Декарта решили перевезти его тело в Париж. Франция переживала тогда тяжелую эпоху. Гнет клерикальной реакции усилился до такой степени, что даже философия Декарта стала признаваться опасной. Несмотря на то, что французский посланник в Швеции, снаряжавший гроб для отправки на родину, заблаговременно известил об этом парижскую администрацию и снабдил провожатых официальным удостоверением от своего имени, гроб был задержан на границе и в останках философа рылись таможенные солдаты, отыскивая контрабанду. В июне назначено было погребение в церкви Св. Женеьевы. Предполагались речи, но в сам день торжества получен был из дворца приказ не произносить речей. Единственными представителями правительства на последних почестях, отданных на родной земле величайшему французскому мыслителю, считавшему некогда возможным защищать «наезженные пути», были сновавшие в толпе шпионы – «des senseurs mal intentionnés», как деликатно выражается Балье.⁵ Торжественная церемония совершена была среди общего тяжелого, подавленного настроения...

Декарт был ниже среднего роста, почему один долговязый немецкий педант со свойственным педантам остроумием называл его «человечком» (*homuncio*). Голова его, как это часто бывает у людей невысокого роста, казалась несколько крупной сравнительно с туловищем. Черты лица Декарта – его несколько выпуклый лоб, на который он зачесывал темно-русые волосы, спускавшиеся до бровей, серые глаза, крупные нос и подбородок и выдававшаяся вперед нижняя губа, придававшая его лицу надменное выражение – увековечены прекрасным портретом работы Франца Гальса, хранящимся в Лувре. Бледный цвет лица и слабый голос, не позволявший Декарту принимать долгое время участие в разговоре, указывали на унаследованную от матери хроническую болезнь легких.

Тем не менее, с двадцатилетнего возраста до последней своей болезни в Швеции Декарт никогда не болел. Он любил повторять изречение императора Тиберия, что к тридцати годам всякий должен обладать достаточным опытом, чтобы обходиться без врача, и сам заботливо следил за своим здоровьем. Руководствуясь своими обширными медицинскими знаниями, он выработал для себя определенный гигиенический режим, которому строго следовал. Режим этот далеко не отличался суровостью, но в общем был разумен и целесообразен и соответствовал хрупкому сложению Декарта и его образу жизни. Он ел много, но старался вводить в свою пищу малопитательные растительные вещества, овощи и фрукты, так как считал целесообразным давать побольше работы кишечнику, функция которого, по его словам, состоит в перемалывании пищевых веществ. В настоящее время мы бы сказали, что введение в виде пищи малопитательных растительных веществ раздражает кишечник и предупреждает его атонию, так легко развивающуюся при сидячем образе жизни. Аббат Пико, переводчик «Начал философии», прогостивший несколько месяцев у Декарта и в качестве католического аббата питавший слабость к вкусному столу, был сначала смущен неприветливым столом Декарта, но потом пришел от него в восторг и проникся чрезвычайным уважением к медицинским познаниям Декарта. Когда ему сообщили о смерти философа, то Пико не поверил известию, так как был убежден, что Декарт «проживет 400–500 лет». Сам Декарт с обычной своей способностью увлекаться рассчитывал значительно удлинить этим режимом свою жизнь, и в Голландии ходили легенды, что Декарт собирается дожить до Мафусаиловых лет.

Большое внимание Декарт посвящал своей нервной системе. Он считал необходимым давать ей по возможности больше отдыха в виде сна и запрещал себя будить. Умственной

⁵ Печать, однако, пользовалась, по-видимому, относительной свободой. В Австрии, при Меттернихе, сочли бы нужным оградить память... Людовика XIV от всякого упоминания о фактах, приведенных в книге Балье, напечатанной в царствование того же Людовика XIV – «*Avec privilège du Roy*».

работе он старался уделять по возможности меньше времени и, по его словам, был обязан достигнутым им результатам только тому, что отводил математическим занятиям не более нескольких часов в день, а метафизическим – не более нескольких часов в год. Обращаем внимание читателей на эти указания, приобретающие особенную цену в устах одного из оригинальнейших мыслителей, каких знал мир, – хотя не думаем, чтобы подобные указания и проповедь в этом смысле могли рассчитывать на какой-нибудь успех. Умственный труд утратил тот характер, какой он имел во времена Декарта. Он превратился в товар, обращающийся на рынке, и рынок предъявляет к нему те же требования, что ко всякому труду – усиленной интенсивности и дешевизны. Это – естественно и неизбежно, зависит это от глубоких, не подчиняющихся индивидуальным желаниям причин и вряд ли можно ожидать изменения в этом отношении в ближайшем будущем. Но столь же естественно и неизбежно будущие наблюдатели будут отмечать прогрессивное вырождение и учащение психозов среди интеллигенции, если не будет радикально изменена система воспитания подрастающего поколения. Мы не можем уменьшить размеров ожидающей, к сожалению, и его, истощающей нервной работы и тяжелых впечатлений, но вполне в наших силах снабдить его железными мускулами, которые хоть отчасти будут уравнивать вред, грозящий ему от лихорадочно-нервного, одностороннего и богатого противоречиями хода развития нашей культуры.

Разговор Декарта был прост и суховат. Лица, подходившие к нему как к оракулу и видевшие в нем олицетворение мудрости, бывали, по словам Балье, разочарованы простотой его ответов. В большом обществе Декарт был молчалив и ненаходчив, как это часто бывает у людей, привыкших к уединенному образу жизни. Но в кругу близких людей он был оживленным и веселым собеседником.

Отношения Декарта к этим близким людям производят, в общем, тяжелое впечатление. На долю Декарта выпало редкое счастье: вокруг него собрался круг восторженных поклонников и преданных друзей, но, по-видимому, он не знал большего и чаще встречающегося счастья – любить других. Перед нами сухая и несколько черствая натура. Обстоятельства его жизни в достаточной степени объясняют возникновение этих черт. Детство, проведенное осиротевшим при самом рождении ребенком в семье, не любившей и не понимавшей «маленького философа»; удаление в возрасте, когда он нуждался еще в уходе со стороны любящих людей, в закрытое учебное заведение, в среду чужих людей; порядки этого заведения, постоянное возбуждение самолюбия у способного и нервного ребенка, которое могло только усиливать несимпатичные стороны его характера и подавлять чувства товарищества и дружбы; затем долгие годы скитальчества, в течение которых его привязанности нигде не могли свить себе прочного гнезда и выдерживались с корнем прежде чем успевали окрепнуть, – все это были условия, вряд ли способные развить сочувственные стороны в ребенке и молодом человеке. В результате получилась сухая, эгоистическая натура, заботившаяся только о своем покое и о своем здоровье. Нужно было много привязанности со стороны старика Бекмана, Мерсенна и Региуса, чтобы выносить капризы, придиричивость и требовательность погруженного в самообожание философа. Тем не менее, рассказывают, что он был вежлив и ласков со своими слугами; следует заметить, что это были интеллигентные люди, помогавшие Декарту в опытах и вычислениях. Один из них, упоминавшийся уже нами Жилье, от имени которого составлялись ответы Ферма, благодаря совместной работе с Декартом так усовершенствовался в математике, что впоследствии преподавал ее голландским офицерам.

Производящие несимпатичное впечатление в личных отношениях Декарта черты его характера – безграничное самолюбие и честолюбие, в связи с давшей этим чертам определенный выход усиленной заботливостью об ограждении личного покоя – принадлежат не только личной биографии мыслителя, но получили более широкое значение: они наложили резкую печать на весь второй период его деятельности. Когда к науке подходят не с чистыми побуждениями, не во имя чистого искания истины, она не всегда «подвергается презрению», как думал Декарт в своем юношеском дневнике, но всегда перестает быть

наукой. Она перестает давать то, что только и в состоянии дать наука: возможные при данных условиях правдивые ответы, – и превращается в софистику. В оправдание Декарта можно сказать лишь то, что, будучи неискренним часто, он оставался неискренним недолго: ему так нравилось все, что он писал, что, начиная писать по сторонним побуждениям, он скоро проникался убеждением в истинности своих софизмов и начинал отстаивать их как очевиднейшие истины. Курьезным примером такого самовнушения является отношение Декарта к составленному им по настоянию Арно объяснению догмата пресуществления. Как ни хитро и искусственно было это объяснение, Декарту оно в высшей степени понравилось, и он рассчитывал даже на включение его в церковную догму.

Возможность таких самовнушений стоит, по-видимому, в связи с одной чертой умственного склада Декарта. Как это ни кажется парадоксально, фантастичность его построений зависела, по всей вероятности, от слабого развития воображения. Декарт сам отмечает, что память у него не отличалась особенной живостью и, во всяком случае, была не выше средней; это – ум по преимуществу логического склада, притом верящий в действительность логических построений. Правда, он с почти забавной обстоятельностью описывает форму мельчайших частиц материи, их желобки, грани и углы, но эта форма представляет только логический вывод из его положений. Только при недостатке чутья к конкретной действительности Декарт мог полагать, что внесением одной-двух *quasi* – конкретных черт он облачает в плоть свои логические схемы. Этой же чертой умственного склада Декарта объясняется резкая прямолинейность некоторых его выводов (например, учения об автоматизме животных) и тот факт, что в его философии мирно уживались рядом противоречивые – более того, непримиримые – течения, согласованные только внешним образом.

Женское общество Декарт любил и был высокого мнения о женщинах: он находил, что они уступчивее мужчин и менее заражены предрассудками. Этот лестный отзыв теряет, к сожалению, значительную долю своей лестности, если мы обратимся к полемике Декарта и постараемся вникнуть в конкретный смысл, который он придавал последним словам. Дело в том, что, по убеждению Декарта, все его критики только потому критиковали его, что или завидовали его гению, или были «заражены предрассудками». Если бы они освободились от всех предрассудков, как освободился от них благодаря своим «сомнениям» он, то убедились бы, как истинна и очевидна вся его философия, начиная с того, что он, Декарт, – «чистый дух» (*pur esprit*), и кончая хотя бы тем, что частицы третьего элемента имеют на себе спирально завитые желобки. Женщины, несомненно, не причиняли Декарту таких страданий, какие причинялись ему мужчинами: они не обижали его сделанными без его участия открытиями, как то делал Галилей, и не огорчали его своей критикой, как то делали Гоббс, Гассенди, Ферма. Критики в самом деле только огорчали Декарта, не принося ему никакой пользы. Он был «упрямее самого упрямого бретонца», и со времени издания «Рассуждения о методе» трудно заметить какой-нибудь прогресс в его философии. Второй период его деятельности отличается от первого только тем, что Декарт выдвигает на передний план те стороны своей философии, которые раньше оставались в тени, и усиленно заботится о согласовании ее с церковным учением. Если он делает уступки, то только теологам. Мэгеффи полагает даже, что Декарт умер впору, что в дальнейшем он, может быть, разрешил бы еще разве несколько математических задач, лишней раз подробнее изложил бы какой-нибудь отдел своей философии. Внутреннего развития его идей, ввиду убеждения Декарта в своей непогрешимости, ожидать было нельзя.

Биография мыслителя не исчерпывается историей его личной жизни. От Декарта остались его «дела», и они составляли такую значительную часть его «я», что наша биография была бы неполной без хотя бы беглого обзора дальнейших судеб его философии. Начнем с истории внешней.

Как мы говорили уже, возбужденная теологами агитация не имела никакого влияния на распространение картезианских идей в Голландии. Философия Декарта вполне соответствовала умеренно-консервативным взглядам третьего сословия, обеспечившего себе

уже в эту пору в Голландии первенствующую политическую роль одинаково далекого как от фанатизма Воэта, так от радикализма Гассенди и Гоббса. При этих условиях агитация фанатиков, так легко похоронившая впоследствии философию Спинозы, не находившую себе поддержки в общественном сочувствии, не могла задержать распространения философии Декарта. Еще при жизни последнего она преподавалась с кафедры в Утрехте и Лейдене, а основанный в последние годы пребывания Декарта в Голландии университет в Бреде был с самого основания своего картезианским. Спустя три года после смерти Декарта его голландский биограф Борель уже говорит, что число последователей картезианской философии так же трудно определить, «как трудно счесть звезды на небе и песчинки на морском берегу».

Иная была судьба декартовой философии во Франции. Хотя столпы средневекового строя – духовенство и дворянство – с усилением королевской власти утратили значительную часть своего политического влияния, но «старый порядок» был в полной силе, и гнет над совестью и мыслью укреплял симпатии к радикальным течениям во французском обществе. Тогда как во второй половине XVIII века Юм не знал ни одного атеиста в пользовавшейся свободой печати и слова Англии и, приехав во Францию, просил показать ему «хоть одного атеиста», Мерсенн за столетие перед тем насчитывал в одном Париже 17 тысяч атеистов. Трудно сказать, какими данными руководствовался почтенный францисканский монах, приводя такие точные цифры, но несомненно, что крайние направления мысли были сильнее в строго опекаемой Франции, чем в свободной Голландии, и тяготевшая к церковному учению философия Декарта долго не могла конкурировать с влиянием более смелой философии Гассенди. Последователей в это время философия Декарта находила себе исключительно в самых консервативных слоях французского общества – в высшем светском обществе и особенно среди духовенства. В духовных орденах ораторианцев, бенедиктинцев и францисканцев, а также среди янсенистов Пор-Рояля насчитывалось много преданных картезианцев; одно время философия Декарта пользовалась, как мы говорили уже, поддержкой также со стороны иезуитов, надеявшихся с ее помощью бороться против все распространявшегося влияния материалистических взглядов. Но все усиливавшаяся клерикальная реакция дошла, наконец, до того, что даже философия Декарта стала признаваться опасной, и иезуиты повели против нее решительную борьбу. В 1663 году сочинения Декарта внесены были в ватиканский index, а в 1671 году парижский архиепископ сообщил университету королевский приказ, запрещающий преподавать иную философию, кроме схоластической. Набожные католики вроде Арно, старавшегося обратить Лейбница в католичество, и Боссюэ не понимали, чего добивается реакция, вступая в борьбу с единственной философией, могущей укрепить в шатающихся умах веру и утверждающей религиозные начала. Но реакция не унималась. Угодливые прислужники, которых она находит всегда и всюду, пытались даже добиться от парламента приказа, осуждающего новые идеи. Когда известие об этом проникло в общество, три писателя – Буало, Бернье и Расин-младший сообща выпустили в свет сатиру, образумившую парламентских советников. Сатира начинается прошением магистров, докторов и профессоров. В качестве защитников и опекунов философии Аристотеля они указывают, что за последние несколько лет «некоторая неизвестная особа, именуемая Разумом, предприняла попытку проникнуть силой в университеты и с помощью неких возмутителей, бездомных бродяг, принявших имена гассендистов, картезианцев, мальбраншистов и пуршотистов, затеяла изгнать Аристотеля, давнего мирного обладателя упомянутых школ... Без ведома Аристотеля сия особа многое изменила и ввела новизны в природу, лишив сердце преимущества быть началом нервов, каковое преимущество было сим философом сердцу по своему изволению даровано, и перенесла преимущество сие на мозг... А затем заставила кровь ходить по всему телу, с полным оной крови произволом шататься, блуждать и обращаться по венам и артериям, без всякого иного чинить таковые продерзости права, кроме опыта, показания коего никогда не признавались в помянутых школах... Далее помянутый Разум... вмешался в лечение и действительно излечил множество перемежающихся лихорадок с помощью чистого вина,

порошков хины и других средств, неизвестных помянутому Аристотелю и Гиппократу, и без предварительного кровопускания, клистиров и очистительных, – что не только неправильно, но и есть крайнее злоупотребление, ибо помянутый Разум никогда не был принят и допущен в корпорацию помянутого факультета и, следовательно, не может совещаться с докторами сего последнего и ими быть на совещание призываем, чего действительно никогда и не было. Несмотря на сие и вопреки многократным жалобам и сопротивлению защитников правого учения, упомянутый Разум продолжал пользоваться сказанными средствами и имел дерзость употреблять их даже над врачами помянутого факультета, из коих многие даже были к великому скандалу им вылечены, – что есть пример очень опасный и не могло совершиться иначе, как худыми путями, чародейством и договором с дьяволом. Не довольствуясь сим, упомянутый Разум предпринял попытку поносить и изгнать из курсов философии „формальности“, „материальности“, „сущности“, etc., а сие, буде суд не окажет помощи, долженствует принести великий ущерб и причинить полное разрушение схоластической философии». По рассмотрении картезианских и гассендистских книг, «приняв все в соображение, суд, согласно прошению, удержал и оградил, удерживает и ограждает за упомянутым Аристотелем полное и мирное владение упомянутыми школами...Предписывает сердцу по-прежнему быть началом нервов и приказывает людям, какого бы звания и должности они ни были, этому верить, несмотря ни на какой противоречащий тому опыт. Запрещает крови бродяжничать, обращаться и блуждать в теле... Воспрещает впредь Разуму и его приверженцам вмешиваться в лечение и исцелять лихорадки дурными средствами и путем чародейства, как то: чистым вином, порошками хины и другими средствами, неизвестными древним. А в случае неправильного исцеления помощью сих средств дозволяет медикам упомянутого факультета возвратить больным по обычному методу лихорадку с помощью александрийского листа, сиропов, прохладительных и других годных для сего средств и привести больных в то состояние, в каком они были прежде, дабы потом вылечить их по правилам; буде же они не вылечатся, отправить на тот свет, по крайней мере достаточно прослабленными и очищенными. Возвращает добрую славу и честное имя „сущностям“, „тождествам“, „возможностям“ и прочим схоластическим формулам... Разум изгоняется навсегда из университета, ему воспрещается входить туда, мутить там и беспокоить упомянутого Аристотеля в его обладании и пользовании» (полный перевод сатиры помещен в книге профессора Любимова). Шутка быстро облетела весь Париж, вызвала гомерический хохот, и президент парламента Ла-Муаньон благодарил Буало за то, что насмешкой над воображаемым приговором он предупредил появление действительного приговора, который вызвал бы несравненно более язвительные насмешки со стороны современников и потомства. Но на правительство Людовика XIV подобные средства не действовали. Когда университет в Кане протестовал против распоряжения, запрещавшего преподавать картезианскую философию, и парламент отменил распоряжение, король вторичным приказом подтвердил, что первое распоряжение остается в силе, и высказал порицание парламенту за его приговор. Период с 1670 по 1690 год считается эпохой мученичества картезианской философии во Франции, и к этому же времени относится быстрый рост ее популярности и влияния. Она нашла горячих и красноречивых апостолов, которых возглавили Рого и Режи. На частные лекции Режи стекалась вся Тулуза. Салоны начинали уже приобретать ту влиятельную роль, которая в таком громадном объеме выпала на их долю в следующем веке, и в письмах m-me де Севинье мы находим указания на широкую популярность декартовой философии. Нельзя сказать, чтобы салонные разговоры о «*tourbillons*», о «*je pense, donc je suis*» и других излюбленных пунктах философии Декарта отличались особенной глубиной. Она стала модной, и m-me де Севинье находит, что всякая светская женщина должна точно так же уметь говорить о декартовой философии, как должна она уметь играть в *écarté*. Несколько взыскательного современного читателя немножко коробит от светских острот по поводу «зеленых душ»⁶ и «*ces beaux tourbillons*», тем не

⁶ Декарт, как мы говорили, отрицал присутствие «цветов» в телах и заявлял, что ощущение, например,

менее дамам принадлежит крупная заслуга: они в значительной степени содействовали популярности картезианской философии во Франции. В последние годы века, когда преследование несколько стихло, обнаружилось, что во всех университетах Франции под видом аристотелевской преподается декартова философия.

Как видно из приведенного выше шуточного «приговора», из цитированных нами выше замечаний Региуса и прочих современники Декарта придавали особенное значение его естественнонаучным теориям и за них он получил в свое время от своих поклонников название «отца новой философии». Точно так же смотрел на свою деятельность сам Декарт, предполагавший посвятить всю свою жизнь «научному обоснованию медицины». Современные метафизики видят, напротив того, в его естественнонаучных теориях только преддверие; «храмом» в их глазах является его метафизика. Не подлежит сомнению, что современники Декарта могли лучше разобраться в том, что старо и что ново в его философии, и, по их убеждению, в его метафизике возрождалось старое мирозерцание. Тем не менее, общая оценка исторических заслуг Декарта, делаемая современными метафизиками, правильна: его метафизика оказала несравненно более сильное влияние на развитие этой области, чем его естественнонаучные теории на развитие естествознания. Благодаря трудам Галилея и его учеников естествознание уже в эпоху Декарта, стояло на твердой почве. Всего тридцать лет отделяют фантастические «Начала философии» Декарта от бессмертных «Математических начал естественной философии» Ньютона – этого неувядаемого образца строгого научного метода. При этих условиях фантастические теории Декарта благодаря обаянию его великого имени и блеску его гения сделались не факелом, освещающим путь человечеству, а сыграли роль блуждающего огонька, поведшего человеческую мысль по ложным путям. Долгое время даже в Англии ньютоновская физика не могла вытеснить физики Декарта, – и перенесение Вольтером (только в половине XVIII века) ньютоновской физики во Францию было крупным моментом в истории французской науки. Эпоха господства картезианской физики была эпохой редкого бесплодия. Чтобы выяснить читателю, каким образом такие естественнонаучные теории, как гипотезы Декарта – по духу и по тенденциям вполне соответствующие нашему современному мирозерцанию, – могут оказывать вредное влияние на развитие науки, мы возьмем пример. Предпочитаем брать пример не выдуманный, а действительный эпизод из истории науки и воспользуемся для этого полемикой Спинозы с Бойлем. Химия не была специальностью Спинозы, и в своей полемике он стоит на почве картезианской физики. Оба противника исходят из совершенно различных точек, оба по-своему правы и оба никак не могут понять друг друга. Спиноза находит, что не философски говорить о различных веществах, входящих в состав селитры (переписка возникла по поводу опытов Бойля над разложением селитры), когда материя едина и когда различные свойства получающихся при опыте веществ могут быть объяснены различным движением частиц единой материи. Бойль, в качестве трезвого англичанина, не понимает, каким образом можно говорить об единой материи, когда при опыте оказывается, что селитра состоит из различных тел, из которых одно (теперешний калий) входит в состав «земли», другое (теперешний азот) – в состав нашатыря. Не подлежит сомнению, что, только оставаясь на той точке зрения, на которой стоял Бойль, можно было расширить границы нашего знакомства с химической природой тел. Если бы даже в будущем наука и признала единство материи (в настоящее время это остается не поддающейся проверке гипотезой в такой же мере, как и во времена Декарта), то, во всяком случае, несомненно, что существуют стойкие комплексы частиц этой единой материи, соответствующие атомам наших элементов, и только тщательное изучение свойств этих комплексов, их взаимных отношений и взаимодействия в состоянии нас привести – вероятно, только в отдаленном будущем – к сколько-нибудь научному объяснению химических явлений движением частиц единой материи. В настоящее время мы не можем даже подходить к этому вопросу; исходя из представления единой материи, мы и теперь, как во

времена Декарта, принуждены были бы только фантазировать и гадать. И действительно гипотезы одна другой фантастичнее преподносились картезианцами в такой изобилии, что знаменитые слова Ньютона: «Hypotheses non fingo!» («Я не выдумываю гипотез!») были не только характеристикой творчества самого Ньютона, но и протестом против порожденного Декартом злоупотребления гипотезами в области естествознания. Единственной крупной заслугой естественнонаучных теорий Декарта была популяризация в тех умеренных сферах, к которым он обращался, научного, механического мирозерцания. Но и в этом отношении, судя по той вражде, которую питают к механическому мирозерцанию в настоящее время люди, считающие себя непосредственными продолжателями дела Декарта, им было достигнуто, вероятно, немного.

«Науке», целиком состоящей из гаданий и гипотез, – метафизике – склонность Декарта к фантастическим построениям не могла принести вреда. Напротив того, резкость и определенность, с которой он ставил вопросы, прямолинейность его выводов послужили могучим толчком для метафизической мысли. От Декарта ведет свое происхождение то направление новой европейской философии, которое известно под именем умозрительной (рационалистической) философии. Преобладание умозрения Бэкон считал характерной чертой схоластики и советовал не давать умозрению новых крыльев, а напротив того к существующим привесить свинцовые гири, чтобы умерить его полет. Надежды отца английской эмпирической философии не сбылись: умозрительной философии предстоял еще ряд смелых полетов, на ее долю выпал еще период редкого блеска. Это было неизбежно. Положительный метод охватил к тому времени еще только ничтожную долю областей человеческого ведения, и естественная потребность в общем синтезе – в мирозерцании – могла быть удовлетворена только тем же путем, каким удовлетворяла ее схоластика: при помощи умозрения. Но тогда как схоластика в конце средних веков стала во враждебные отношения к науке, метафизика – в этом единственное, но существенное их отличие – оперлась на достигнутые в XVII веке точными науками результаты, и в этом слиянии умозрение нашло новые силы. Общественные условия, принуждавшие лучших людей эпохи замыкаться в тесных рамках теоретической работы, сообщили последней почти болезненную интенсивность. Необходимость решать жгучие вопросы отвлеченно, без проверки опытом, приучала к абсолютным выводам и безусловным решениям. В той области, которую положительная наука принуждена была предоставить метафизике, опорных, направляющих пунктов было так мало, что временные колебания в настроении среды и индивидуальность мыслителя накладывали резкий отпечаток на получавшиеся ответы. Если в одних случаях с редкой ясностью ума предвосхищались приобретения позднейшей науки, то в других с неменьшей резкостью обнаруживался возврат к средневековому мирозерцанию. Великие метафизики непосредственно примыкающей к Декарту плеяды, подобно ему, не были, впрочем, только метафизиками. Это были гениальные наблюдатели, обладавшие разносторонним научным образованием, и почти все они записали свое имя крупными буквами в историю не только метафизики, но и положительных знаний. Около середины XIX столетия окончательно стали на положительную почву психология и биология, положительный метод стал проникать в общественные науки и этику, – и метафизика умерла естественной смертью. За семьдесят лет, прошедших со смерти Гегеля, она не сумела выставить ни одного крупного имени, тогда как история науки и научной философии насчитывает за ту же пору ряд блестящих имен. Современные эпигоны метафизики повторяют слова и мысли, оставленные гигантами старого времени, страдают неудержимым влечением «возвращаться назад» и по мере своих сил удовлетворяют потребности в умственной пище тех групп современного общества, которые не преодолели еще метафизическую стадию развития.

Тот период истории мысли, в центре которого стоит Декарт, можно, таким образом, считать закончившимся. Это во всех отношениях переходный период, как переходны, впрочем, все эпохи человеческой истории. Но он характеризуется рядом параллельно – в различных областях человеческой жизни – возникающих, нарастающих и достигающих

своего апогея черт, позволяющих выделить его в качестве типичного исторического периода. В начале и конце его мы встречаем моменты сравнительно устойчивого равновесия. Первый момент нарушается в эпоху, непосредственно следующую за крестовыми походами, когда в однородную военно-земледельческую среду вклинивается новый элемент, торговое городское сословие. В политической сфере начинается собирание государств. В области теоретической мысли происходит перенос на европейскую почву арабской науки и возникает схоластика, – в то время еще живой организм, не изолирующий себя, как это было впоследствии, окаменевшими формулами от зарождавшейся науки и пробивающий первые бреши в первобытном средневековом мирозерцании. В середине этого периода мы находим непрерывный рост торговли, становящейся к этому времени мировой, – упадок влияния духовенства и феодального дворянства и возникновение при поддержке третьего сословия абсолютных монархий. В области мысли всецело становятся на положительную почву астрономия, механика, отчасти физика, – и схоластика, выродившаяся в праздную болтовню о никого не интересовавших вопросах, сменяется более соответствующей научному уровню эпохи и ее запросам метафизикой; это – эпоха Коперника, Галилея, Ньютона – с одной стороны, Декарта и плеяды великих метафизиков – с другой. К середине XIX века в экономической сфере достигает полного расцвета капитализм, в политической – получает господство третье сословие. В области мысли – положительный метод распространяется на все области знания и умирает метафизика, сыгравшая, подобно некоторым другим элементам этого сложного исторического процесса, роль временного связующего звена. Далекое не случайное совпадение тот факт, что Англия, осуществившая у себя конечные результаты этой долгой эволюции еще в середине XVII века, почти не испытала влияния метафизики. Конечный момент устойчивого равновесия характеризуется радостью по поводу одержанных побед, довольством достигнутыми результатами.

Этот момент остался где-то далеко позади нас. Он осложнился даже на одно мгновение глубоко несправедливой «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Теперь мы переживаем более спокойное и справедливое настроение. Мы признаем всю ценность большинства добытых усилиями ряда поколений результатов, не представляем себе возможности существовать без них, сознаем, что двигаться вперед мы можем только на почве сделанных уже завоеваний. Но восторги по поводу их и теперь представляются нам несколько наивными. Эта неудовлетворенность лучше всяких фактов свидетельствует о том, что для европейской мысли начался новый, сложный исторический период. Опять, вместо желанной цели, открылась перед ней необозримая дорога; предстоит новая долгая работа и упорная борьба. Вероятны шатания, временные кризисы, временное возрождение веры в спасительную силу дошедших до нашей эпохи переживаний. В частности, не выходя из той сферы, которая стоит в тесной связи с предметом настоящего очерка, мы были бы неискренни, если бы сказали, что не ощущаем потребности в синтезе, полнее охватывающем громадный, накопленный уже наукой фактический материал, чем это достигнуто в имеющихся попытках философского обобщения. Существуют целые области знания – во главе их науки общественные, – в которых процесс философской систематизации еще только начался, в которых еще фигурируют школы и секты, в которых нас подавляют сырые, необработанные факты. Между тем, только синтез – а не груда сырых фактов – в состоянии дать ответ на мучащие нас вопросы раньше, чем решит их не дожидаящаяся теоретических ответов жизнь. А затем многие вопросы, волновавшие в области теоретической мысли современников Декарта, остаются вопросами и для нас. Не вернуться ли нам к Декарту? Это было бы совершенно бесполезно. Всякая попытка возвращения не к Декарту только, но к метафизическому умозрению вообще натолкнется теперь на те же препятствия, на какие натолкнулся Гегель в своей плачевной попытке исправить путем умозрения Ньютона: на имеющийся у нас фактический материал. Положительный метод захватил *все* области знания; нигде уже не осталось простора для полетов ограниченной только законами силлогизма мысли. Мы дорожим добытыми наукой результатами и никогда не откажемся от них. Но мы не могли бы отказаться от них, даже если бы желали; мы не можем не видеть

точно установленных фактов, как не можем отказаться от тяжелого личного житейского опыта и вернуться к «сладкому неведению» детства. Мы не завидуем даже легкости, с какой предшествовавшие поколения принимали получавшиеся ими ответы: она для нас невозможна. Нужно быть совершенно нетронутым наукой и окружающей действительностью, нужно воспитаться, подобно схоластикам, в исключительной атмосфере герундива, аориста, комментарий к Аристотелю и Платону, чтобы открывать – как это делают современные метафизики – в великих метафизических системах прошлого неисчерпаемый клад всякой премудрости для нашего поколения. Мы подходим к этому кладью с глубоким интересом потомков, знающих, что не с них начался мир и не ими он кончится, – но он уже не содержит в себе для нас «живой воды, напившись которой, не будешь жаждать вовек»: он не утоляет нашей жажды даже на мгновение. Бездоказательные, хотя и остроумные гипотезы, диалектические построения нас теперь, когда мы сходим с исторической точки зрения, уже даже не забавляют. Мы стали сложнее и старше. Когда в XVII веке схоластики звали «вернуться назад» к великим мыслителям древности, Бэкон и Декарт отвечали: «Их ошибочно называют древними; мы старше их; они – дети в сравнении с нами». То же принуждены были бы мы ответить людям, тревожащим в настоящее время почившие великие тени. Мы старше метафизики, старше последнего великого ее представителя почти на три четверти века, старше сделанным за это время громадным – беспримерным в летописях истории – запасом опыта и наблюдений, старше возникшими у нас с тех пор мучительными вопросами. Да и к чему, собственно, возвращаться? Ведь одна возможность подобных советов указывает, что никаких *завоеваний* метафизикой сделано не было: к сделанным завоеваниям не возвращаются. Она не взяла неприятельских городов, а только побывала в них; она не побеждала трудностей, а только обходила их; не раз еще нам придется укладывать «костями» целые поколения под стенами крепостей, которые она взяла, – нет! в которых она только побывала... Возможность вторично *побывать* там нас теперь уже не удовлетворит; нам нужно взять их. А достигнуть этого мы можем только тем же путем, каким достигнуты все завоевания человеческой мысли: при помощи научного метода, оставаясь на почве положительной науки, – не возвращаясь назад, в каких бы радужных красках ни рисовали утраченный нами Эдем, а постоянно и неуклонно идя от сделанных завоеваний вперед.

Литература

Полное собрание сочинений Декарта в подлиннике издано *Кузеном* (11 тт. 1824–1826). На французском языке имеется, кроме того, ряд дешевых изданий сочинений Декарта, из которых сравнительной популярностью пользуется издание Жюль Симона, содержащее в себе только философские сочинения: «Рассуждение о методе», «Размышления» (с возражениями различных авторов и ответами Декарта) и «О страстях души» (Paris, 1857). На русском языке имеются два перевода «Рассуждения о методе» – М. Скиады (Воронеж, 1873) и Н. А. Любимова (Спб., 1886). К переводу проф. Любимова приложены пояснения, содержащие много биографических подробностей, и изложение трактатов «О мире» и «О человеке». Московское психологическое общество готовит к печати перевод «Размышлений» и первой (метафизической) части «Начал философии».

Наиболее полная биография Декарта издана еще в 1691 году Балье, имевшим в своих руках много неизданного рукописного материала: «*Vie de M. Descartes*» (2 больших тома). Книга Балье представляет теперь библиографическую редкость, и многим последующим биографам приходилось пользоваться сокращенным ее изданием. Полное издание имеется в Императорской публичной библиотеке в С.-Петербурге.

Кроме того, мы пользовались следующими сочинениями:

Foucher de Careil. Oeuvres inédites de Descartes, 2 т., 1859–1860.

Mahaffi. *Descartes* (Blackwood's Philosophical Classics), 1884.

Bouillier. Histoire de la philosophie Cartésienne, 2 т., 1854.

Windelband. Geschichte der neueren Philosophie, T. 1, 1878.
Daniel. Voyage du monde de Descartes, Nouv. éd. – Paris, 1702.
Розенберг. Очерк истории физики, пер. проф. Сеченова, ч. I и II.
Thomas. La philosophie de Gassendi. – Paris, 1889.
Фулье. Декарт, пер. под ред. проф. Грота. – Москва, 1895.